

Надежда  
Чернова



## ЛЕТЯЩИЕ В ТУМАНЕ

(Весёлые мемуары)

**Инна Потахина**

*«Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток...»*  
Александр Сергеевич, я не думала, что мой «свиток» будет столь длинным. Заговала написать не более ста страниц, а уже вон сколько наваляла! Но как бы ни было мне стыдно перед Пушкиным за моё многословие, как бы ни было больно от потерь, давайте снова вернёмся к «веселию жизни», пока живые: ведь пока живы мы, пока помним – живы и все, кто ушёл. Это известная истина. Моё «воспоминание» не безмолвно: шум голосов, смех и песни слышу я! Кинолента Жизни откручивается назад. Двери широко распахиваются, впуская клубы мороза, запах цветущих лип, летний зной, сладость дынь и арбузов – всё вместе, всё враз! Праздник был, когда хотелось, когда сходились внезапно и на молодом кураже. У кого мы только ни собирались! Часто – у Инны Потахиной.

Инна обычно музицировала на пианино и пела, потом все пели под гитару Бахыта Каирбекова, Кайрата Бакбергенова, Славы Киктенко. Адольф исполнял изысканные романсы.

Где Инна – там театр с переодеваниями, со стихотворными монологами, экспромтами, «капустниками». Короткое время она работала со мной в «Просторе» – и сразу же стала устраивать «пятничные салоны»: художники Наташа Яровая и муж её Володя Псарёв выставляли свои картины, Женя Курдаков читал главы из прозаической книги, которую писал: «Золотое перо иволги», поэты декламировали новые стихи. Пили чай вскладчину, и не только чай. Но «салоны» продержались недолго, как и другие попытки как-то упорядочить и сделать регулярными творческие встречи поэтов, художников, музыкантов, актёров. Зато «беспорядочное», спонтанное общение – почти ежедневно – происходило в кафе СП «Каламгер», где Инна снова «театральничала»: она была театральным человеком. Одно время работала в Павлодарском театре, а потом в ТЮЗе – завлитчастью. И стихи её были немного театральными, но самое главное: Господь наделил её талантом дружбы. Она умела дружить, как, впрочем, всё её поколение. Инна Потахина, Мила Лези-



на, Люда Енисеева-Варшавская, Адольф Арцишевский, Виктор Бадиков, Тамара Мадзигон – высокая, красивая, резкая, с чёлкой до глаз, умная, своенравная:

*«Я дарю такое счастье, / Что тебе не унести, / Я не стану только частью / На твоём пути. / Подойду и заколдую, / И подую на свечу. / Захочу – совсем задую, / Расколдую – захочу! / Попадаюсь я нечасто, / Попадусь, не отпусти! / Я не стану только частью / На твоём пути».*

Они подружились в студенчестве и никогда не расставались, горой вставая друг за друга. Дружили по стихотворной формуле максималистки Тамары Мадзигон: *«Весь мир неправ, а ты права!»* Сохранить в первозданном виде такую дружбу редко кому удаётся – с возрастом чувства тускнеют, приходят разочарования, расходятся жизненные пути. А тут – столько написано посвящений! И стихи товарищей до сих пор читаются взахлёб, и смело объявляются классикой, и глаза горят юношеским огнём. Кто-то ушёл раньше, кто-то позже, но кто ещё оставался – хранил трепетную память о друзьях. Адольф Арцишевский издал и продолжает издавать книги Бадикова, находя спонсоров. Бадиков помогал в издании книг Людмилы Лезиной, Олега Постникова, Тамары Мадзигон. Недавно стараниями семьи Тамары, а также её ученицы, профессора филологии Веры Савельевой выпущен двухтомник Мадзигон *«Контур жизни»* и *«Тамара Мадзигон в воспоминаниях современников»*, где снова статья Бадикова и других её друзей, в том числе и Потахиной, где такие слова: *«Мы относились к ней восторженно, как к чуду, и, пожалуй, я знаю наизусть каждое из её стихотворений этого периода»*, то есть юности, когда и началась дружба – на все годы. Обо всех своих товарищах написал Виктор серьёзные критические работы. Они стали книгами. Люда Енисеева тоже писала о друзьях очерки, устраивала вечера памяти. Однажды её бывший гражданский муж, поэт Лев Щеглов привёз ей из Москвы, где жил, чемодан своих стихов: *«Распоряжайся ими, как хочешь!»* Вскоре он умер. Людмила несколько лет печатала *«Стихи из чемодана»*, зная, что это её долг. Вот как Инна Потахина понимала дружескую любовь своего поколения, которую они пронесли через всю жизнь:

*«Не привыкай любить в расчёт – / Так вяло, слепо, понемногу. / И ты жива, и он живёт, / Почти разумен, слава Богу! / И среди шелеста словес / Ты, привыкая, различаешь / Слова любви – на вкус, на вес... / А все ненужные – прощаешь...»*

Они прощали «всё ненужное». В Алма-Ате того времени были дома, где всегда примут, обогреют, не задавая лишних вопросов, оставят жить, пока не перегорят твои невзгоды. Дом Инны был таким приютом, и дом Руфи Тамариной, и дом Старковых, и дом Люды Енисеевой, и дом чудесного художника Саша Островского и его жены, журналистки Гали Берковской, где часто находила приют сама Инна. Она написала благодарные стихи этому дому:

*«Кто знал, что дружба – это значит дом, / Где полночи приветливы, как день, / Где лень недопустима и усталость, / Где тихо спросят: «Что с тобою случилось?» / И прозвучит, как музыки начало, / Тревожное: «Беда твоя не в том...» / И как легко от музыки бежать, / Чтоб по лучу обратно возвратиться, / Прикинувшись необычайной птицей, / Сказать слова, удачнее себя... / И опрокинув бешенство порядка, / Стихи играют с музыкаю в прятки, / На поворотах весело скрипя... / Кто знал, что дружба – это значит дом, / Где помыслы приветливы и чисты, / Где ложь не подаётся на десерт, / И где звучит, как музыки начало, / Обычное: «Ну где ты пропадала? / Всё хорошо? Давай пальто. Привет!»*

Вообще-то, стихи эти не должны бы мне нравиться: они слегка сумбурны, и всё же – как хороши! Завораживает музыка, заключённая в них. Я слышу музыку, когда внешняя оболочка слов уже не важна, слышу главную музыкальную фразу, которую бы я слегка перестроила: *«И провзвучит, как музыки начало: “О Господи! Ну где ты пропадала?..”*» Именно в таком варианте я строки эти повторяла всю жизнь. Да простит меня Инна!

Она всегда придирчиво относилась к тому, что пишут о ней. Как-то я написала очерк о жизни её и творчестве в журнал «Зеркало». Прочитала Инна – и рассердилась, да так, что вообще запретила писать мне о своей поэзии. Выходит, я её не угадала, и никто не угадал. И остаётся только верить её собственным откровениям о себе – читать стихи, особенно последних лет, где нет уже театральности, где она уже впала «в простоту, как в ересь»:

*«Пройдёт полвека или век, / А, в общем, – целая эпоха! / Но в самом деле человек / Живёт от выдоха до вдоха. / И в этом узком закутке / Он тот, каким себя мерещит: / Красив, шагает налегке, / Избегнув порки и затрецин. / По-настоящему святой – / Цветы оставит у порога. / Ведь жизнь дана, как дар простой, / А слава достаётся Богу».*

Инна и не заботилась о славе, и при жизни не получила её, что, конечно же, совершенно несправедливо – она была талантлива, и многие молодые поэты находились под обаянием её таланта, её нестандартной личности, её острого ума, и я тоже, но не пишу о ней – она не велела!

## Нурпеисов и Арцишевский

Собирались ещё у Адольфа и Риты Арцишевских. Боже мой! Как только Рита выносила наши писательские загулы? С песней «Мы дети Галактики!» вваливались к ним посреди ночи, большой компанией, опустошали холодильник и запасы «Альфонсовки», не дав вину добродить. Утром Рита во всех комнатах обнаруживала спящих писателей, и даже в кухне, под столом. Некоторые задерживались у них на двое-трое суток, иногда женились – и Рита с Адольфом были свидетелями этого радостного события, или расходились – и они снова были свидетелями, пытались мирить. Рита никого не выгоняла, не скандалила. Может, благодаря своему терпению и лёгкому характеру прожила она с Адольфом более полвека? И всё-таки, думаю: главная причина – любовь.

Роман самих Адольфа и Риты проходил на глазах моего свёкра Юрия Борисовича Бек-Софиева. Он давал им убежище для свиданий в своём бараке на «Казахфильме». После походной жизни во время революции и двух войн, в которых он участвовал, после эмиграции и постоянного бездомья Юрий Борисович наконец-то обрёл своё жильё. Барак на окраине города, в котором обваливался потолок, а соседи дрались после каждой полочки, всё равно казался ему прекрасным. Юрборсо – так в шутку называли его друзья – любовно обустроивал свой «приют трудов и вдохновенья». Возле барака посадил малину, фруктовые деревья и много цветов. По вечерам сидел в своём райском саду и любовался на голубые горы Алатау, иногда быстро зарисовывал их в свой блокнот – он был отличным рисовальщиком, а на полях рисунков писал стихи:

*«Жизнь уходит. Уходит. Уходит. / Тишина. Одиночество. Горечь. / Неожиданно быстро, а вроде / Было радости много и горя, / И любовь, что даётся*

*немногим, / Что сильнее беды и тревоги, / И судьба, что даётся не каждому. / Благополучие? – Это неважно...»*

К баракам вела песчаная дорожка, которую прозвали «тропой любви»: по краям её стояли в ряд дощатые сортиры и в каждом – эротические картинки и надписи. Вот по этой «тропе любви» Адольф с Ритой и пробирались в райский сад. У них были семьи, правда, на грани развода, но всё равно встречаться приходилось тайно, и не только у Юрборсо, но иногда и на квартире Риты, когда муж её уезжал в командировку. Адольф рассказывал в лицах о том времени, передавая разговор с одним старым евреем. (О себе Адольф говорит шутливо: «Моё еврейское происхождение не доказано, но куда деть фейс? Он же всё доказывает! Хотя у фейса и нет пейса...») Еврей оказался сослуживцем бывшего Ритиногo мужа и не знал, что Адольф тоже её муж, но уже нынешний.

### Притча о подштанниках

– Это была ужасная история! – вспоминал старый еврей. – Ви представляете, приезжает муж Риточки из командировки и застаёт у ней любовника.

– Действительно, ужасная история! – подыгрывает ему Адольф.

– И чьто ви думаете? Этот негодяй, этот любовник сделал Риточке анекдот: оставил свои подштанники, а сам исчез. Муж его так и не нашёл. Как ви думаете, куда он делся?

– Выпрыгнул в окно, в цветочную клумбу.

– Чьто ви говорите! И какой был этаж?

– Второй.

– Чьто ви говорите! Разбился?

– Нет, только пятки отбил.

– Чьто ви говорите! Ви разве знали этого парашютиста?

– Знал! Это был я!

– Чьто ви говорите! Боже мой! – возопил старый еврей. – Боже мой! И чьто стало с бедной Риточкой?

– Я на ней женился.

– Чьто ви говорите! – ещё сильнее закричал старый еврей. – Какая хорошая история!

### Семейный долг Мафусаила

Первого мужа Риты мы никогда не видели, а вот с первой женой Адольфа, Светланой, знакомы: стройная белокурая красотка, она долго оставалась молодожавой. Рита, кстати, тоже хорошенькая. У Адольфа слабость к красивым женщинам, хотя сам красотой никогда не блистал, даже в молодости, но всегда умел любить, и после развода сохранил со Светланой хорошие отношения (у них общий сын), и не только с нею, но и с её новым мужем – его он тоже полюбил, и они даже как-то организовали совместное издательство. Продержалось оно недолго, но важен сам факт.

Адольф вырос в многодетной семье. Его русская мать – от крепких сибирских корней, и почти все в роду долгожители: жили до ста и более лет, а отец – выходец из Польши, и вроде бы когда-то был у Арцишевских родовой герб. Кто его знает,

может, и был. Дело не в нём, а в традициях семьи: Адольф унаследовал стремление к большому количеству родственников вокруг себя, которых он всячески поддерживает: сестёр, столетних тётушек, своих детей, внуков и правнуков. Для этого приходится ему работать без передышки. Ему уж за восемьдесят, а он всё трудится, а дети всё поставляют ему новых внуков, а теперь уже и правнуков. Видно, придётся Адольфу жить так же долго, как библейскому Мафусаилу, чтобы и праправнукам помогать. Мафусаил, говорят, помогал – все свои 666 лет! Адольф который прослыл в молодости ловеласом, рассыпавшим сладкие комплименты всем женщинам вокруг, оказался необыкновенно заботливым отцом и мужем, но навсегда остался романтиком: в перерывах между прозаическими книгами и газетной подёнщиной сочиняет стихи, посвящённые Рите (ну, по крайней мере, утверждает, что Рите!), а вот «анекдоты» ей уже не делает.

Всю жизнь страдал он от своего имени – Адольф, да ещё отчество у него – Альфонсович. Поначалу, как услышат, люди думают: шутка такая. Но какая уж тут шутка! Адольф родился в 1938 году, и папаша его, тёзка французского писателя Альфонса Доде, дал сыну обычное польское имя, не подозревая, чем это обернётся для его отпрыска во время войны и после неё – до наших дней. Имя это скомпрометировал Адольф Гитлер, а так-то ведь оно ни в чём не виновато, как всякое другое имя. Отец Адольфа одно время работал художником в Воскресенском соборе – в 30–40-е годы это был музей, и там тесно общался с писателем Юрием Домбровском, написавшем потом об этом соборе свой знаменитый роман «Хранитель древностей». Адольф видел писателя дважды: когда четырёхмесячным младенцем ухватил его за палец, и когда, уже в 30 лет, встретил на алма-атинской улице под руку с Кларой Турумовой, женой Домбровского. И сам писатель, и отец Адольфа в сталинские времена были репрессированы по 58-й статье. Альфонс Арцишевский – с формулировкой «польский шпион».

Адольф Арцишевский яркой кометой буквально ворвался в литературу со своими рассказами, которые отличались новизной, свежестью и поразили всех, хотя писал он о том же, о чём и многие из его поколения: о недавней войне, послевоенном детстве, о первой любви. Потом Адольф попал в опалу, став редактором скандальной книги Олжаса Сулейменова «Аз и Я». На книгу эту ополчились учёные России, оскорбившись тюркской трактовкой Олжасом «Слова о полку Игореве», и вообще, псевдонаучностью его исследования, хотя это было вовсе не научное исследование, а фантазии поэта, художественный взгляд на историю. Поэты – в шутку – называют этот «взгляд» Олжасоведеньем, а молодых казахских поэтов, которые вслед за ним стали писать по-русски, – олжасоязычными поэты. Книга «Аз и Я» была запрещена. Теперь же за ней гоняются книголюбы и удивлены, что труд, который под силу целому научному коллективу, написал один человек – Олжас Сулейменов.

Потом Адольф стал активистом ПЕН-Клуба, который возглавил народный писатель Казахстана Абдижамил Нурпеисов – живой классик (ему уже под сто лет!), автор знаменитого романа «Кровь и пот», переведённого на русский язык другим советским классиком, Юрием Казаковым. Нурпеисов приблизил Адольфа к себе, сделав его своим секретарём и собеседником, наподобие Эккермана при Гёте. Раньше эту миссию выполнял Виктор Бадиков, но потом он трагически погиб, и Нурпеисов на смену ему призвал Адольфа. Адольф всюду следует за классиком, записывая в блокнот все его высказывания, мысли и замечания.

Быть рядом с Нурпеисовым – ещё то испытание! Он настоящий тиран, и это подтвердили все переводчики, которые имели с ним дело: изматывал их, как рыба-ка большая рыба у Хемингуэя в рассказе «Старик и море». Так исчертит перевод, вплоть до запятых, что живого места нет, и требует всё начать сначала. В конечном итоге остаётся не перевод, а его собственное изложение на русском языке. Так он много лет всё переписывает и переписывает свой роман «Кровь и пот» – и никак не может поставить точку. Думаю, рукопись романа он заберёт с собой и *туда* – лет эдак через триста! – за черту, где продолжит совершенствоваться.

Как-то он сломал ногу, потом шейку бедра, да ещё и пневмонией заболел – год лежал. Но так велика сила его духа и страсть к работе, что ведь поднялся, когда другие в его возрасте после таких недугов уже не встают. Поднялся и поехал в Кызыл-Орду. Несколько лет Абдижамил Каримович в Приааралье, на родине своего романа, строил себе мавзолей (теперь уже построил, говорят!), а в Актобе героям романа Нурпеисова поставлен памятник.

### Притча о мавзолее

...И отправился Адольф Арцишевский с группой писателей по местам романа «Кровь и пот», и была с ними гостья из Польши. Передвигались на вертолёте, с частыми посадками – и всюду их ожидали щедрые дастарханы. Объевшись бесбармака и баурсаков, летели дальше. И так несколько раз. От чревоугодия и болтанки в вертолёте писателям сделалось дурно. Стали пропускать приземления, и несколько дастарханов остались несъеденными. Кое-как долетели они до конечного пункта – до мавзолея классика. С облегчением ступили на твёрдую землю и вскоре увидели мавзолей.

Сопровождавший писателей чиновник важно сообщил, обращаясь, главным образом, к иностранке:

– Вот мавзолей нашего классика Абдижамила Нурпеисова!

Тут из дверей усыпальницы вышел и сам Нурпеисов: он прятался там от жары. Казахские писатели его хорошо знали и потому не удивились, а вот польская гостья никогда его не видела, но слышала, что мавзолеи ставят мертвецам.

Обращаясь уже к ней одной, чиновник сказал:

– А это наш классик, Абдижамил Нурпеисов!

Бедная полька рухнула в обморок.

### Лида Степанова

Особенно любили мы посиделки – и тоже часто экспромтом – у Лиды Степановой, чудесного поэта и переводчика. Лида с мужем, тоже поэтом и переводчиком, и двумя детьми жила в кирпичной «хрущобе», в районе ВДНХ. На крошечной кухоньке в пять метров умещалось порою до двадцати человек. В ночь уходили поэты с рюкзаками пустых бутылок, которые им удавалось сдать и купить незабвенное вино «Талас», воспетое Лидой: *«Течёт в Киргизии река / По имени Талас, / Течёт она издалека, / Но вся впадает в нас!»* Спустя годы я случайно обнаружила в одном из научных рефератов филолога-фольклориста, что это четверостишие есть образец народного творчества: мол, автор неизвестен, а стихи посвящены исключительно великой киргизской реке Талас, но не пояснялось, как она могла

в нас впадать – вся? О вине «Талас» автор реферата, скорее всего, не знал, потому что теперь его, кажется, не делают. Четверостишие считалось научным открытием реферанта. А я помню, как родились эти строки. Была глубокая ночь. Люба Шашкова глянула на круглые настенные часы – два часа. Горестно вздохнула:

– Нет смысла ехать домой... Теперь всё кончено... А такая была хорошая семья... И выпить нечего...

Мы не были пьяницами, но для куража, конечно, выпивали. Я вообще мало пила, потому что мой организм яростно сопротивлялся градусам. Так с ним и не договорилась! И то, что случилось в ту ночь, никак нельзя отнести к алкогольным глюкам. А случилось вот что: на подоконнике чудесным образом, из воздуха материализовалась бутылка вина «Талас». Мы замерли в потрясении, а Лида выдала экспромт: *«Течёт в Киргизии река...»* Вот как рождаются стихи! И вот кто автор, литературоеды! Так и осталось загадкой, откуда взялась эта бутылка?

\* \* \*

Лида Степанова ленинградка. Начинала там учиться в университете на философа – и многие её стихи с философским уклоном. Первую свою книжку издала она в Ленинграде, но главные книги вышли у неё в Казахстане. Доучивалась в Москве, в Литинституте, где познакомилась со своим будущим мужем. В Москве тогда много училось казахстанцев, и не только в Литинституте: Жадыра Дарибаева (одна из авторов гимна Казахстана), Бахыт Каирбеков, сын известного поэта – Гафу Каирбекова, Вячеслав Киктенко – сын учёного, профессора, Ерлан Сатыбалдиев – потомок классика казахской литературы Дулатова, Бахытжан Канапьянов – племянник скульптура Шота Валиханова, который стал автором стелы с Золотым Человеком на новой площади Алма-Аты, Кайрат Бакбергенов – сын известного прозаика Саурбека Бакбергенова, и другие. Все ребята не только из прославленных, хороших семей, но и сами талантливые, ставшие ныне известными писателями и большими людьми: Бахытжан Канапьянов, чьи книги издаются не только у нас, но и в дальнем зарубежье, глава издательского дома «Жибек Жолы», секретарь по международным связям СП Казахстана; Бахыт Каирбеков возглавлял «Казахфильм», снял этнографические фильмы о культуре и быте кочевой Степи, которые стали классикой современного документального кино; Ерлан проявил себя блестящим переводчиком прозы и успешным издателем: под его рукой крупное издательство «Мектеп»; Вячеслав Киктенко – автор многих поэтических книг, одно время был представителем нашей казахстанской литературы в СП СССР, после чего остался жить в Москве и теперь сотрудничает с журналом «Москва»; Кайрат Бакбергенов возглавляет Ассоциацию переводчиков Казахстана и сам замечательно переводит, и не только с казахского, но и с немецкого, лужицкого, словацкого, сербского, зная эти языки, он главный редактор журнала «Простор».

Молодой муж привёз Лиду в Алма-Ату, которая удивила её своей совершенной непохожестью на Россию. Романтичная Лида видела в горных проломах абрис древнего Колизея, а в полынных запахах близкой степи дыхание монгольской конницы Чингисхана. Её воображение волновали образы былинной истории. Она родила от своего казахского мужа двух детей – русоволосых, похожих на татар (с кем бы ни скрестились русские, получаются татары). Однако всё это не сделало её азиаткой, не избавило от тоски по родительской деревне под Лугой,

где слышала она дудочку пастуха, где рвала полевые цветы и знала их по именам, она скучала по тихим русским речкам и еловым лесам.

Ни Лида, безбытовая по своему складу, ни тем более юный её муж, судя по всему, не были готовы к семейной жизни, как и другие наши литинститутские мальчишки. Вернувшись из Москвы, стали они работать в алматинских издательствах и на первую зарплату купили... настольный хоккей. В обеденный перерыв сражались, двигая игрушечных хоккеистов. Они ещё не вышли из детства. Покупая игры детям, снова играли сами, а детей, чтобы не мешали, ставили в угол. То мы слышим, что кто-то из них побрил кроличью шубу матери, чтобы сделать себе дублёрку, то у кого-то дети притащили с улицы котёнка, а папаша-поэт запихал бедное животное в зимнюю шапку и подвесил шапку к люстре, чтобы опять же никто не мешал играть в морской бой либо строчить на машинке новую поэму. А по вечерам – дружеские пирушки, песни под гитару, вино «Талас». Семейные заботы отвлекали от продолжавшейся студенческой жизни, и потому – увы! – не все семьи устояли. Семья Лиды держалась долго, но тоже потом распалась, однако они с мужем сумели сохранить родственные отношения. После ухода из жизни Лиды муж выпустил книгу её избранных стихов и всегда говорил о ней с нежностью и трепетом перед её талантом, перед её прекрасным сердцем.

Помню, в последнюю её осень я пришла к Лиде в больницу, принесла какую-то домашнюю еду. Заглянула в палату – Лида была одна. Отстранённая, сосредоточенная, она молилась. И я не стала ей мешать. Когда она закончила молитву – вошла. Мы много говорили в тот день, в том числе и об их разрыве с мужем. Лицо Лиды озарилось особым – небесным – светом и она сказала, что муж ни в чем не виноват, что он по-прежнему любит её и она его любит, а отпустила – потому что растёт у него в новой семье ещё один сын, которого надо поднимать, а их дети уже взрослые, уже и внучка есть. Что же держать его возле себя? Отпустила... И через паузу:

– Говорят, жена его хорошая хозяйка, а я ведь... сама знаешь... Ему там лучше. Великая женщина. Великая любовь. *«Ему там лучше...»*

\* \* \*

Болезнь Лиды развилась, скорее всего, от житейских стрессов, которые накопились к той роковой осени: разрыв с мужем, дочь бросила институт иностранных языков, приняла протестантскую веру, ездила в Корею, где обучилась на протестантского священника. Протестантская церковь, спонсируемая США, заточена на материальном обогащении. Для Лиды, глубоко верующего, православного человека, совершенного бессребреника, всё это было нестерпимым. Было трагедией. А тут с сыном беда – связался с плохой компанией. Смерть матери его образумила. Он бросил валять дурака, завёл семью. Большая, дружная семья и у дочери – там трое прекрасных, талантливых детей, но Лида этого уже не увидела.

Довершило свою разрушительную работу и эхо войны. Мать Лиды, истощённая ленинградской блокадой, родила девочку в холодном октябре 1946 года. Может, поэтому Лидочка поздно начала ходить и говорить, болела всё детство и прожила недолгий век. В конце жизни Лида воцерковилась, отрешилась от мирской суеты, даже стихи перестала писать и читала только духовную литературу, передав своё собрание светских книг в ближайшую библиотеку. Лицо её стало ликом, осиянным тихим небесным светом. И одно из последних стихотворений – о Боге:



*«У тех, кто молится ночами, / Глаза становятся – очами, / Двумя осколками небес, / Где всё – и радость, и рыданье, / И ужас крестного страданья / Того, кто в третий день воскрес...»*

Но этот путь не был случаен и давно вызревал в душе Лиды Степановой, которая начала томиться грехами, которая готова была к любой пытке ради очищения от земной скверны, которая жаждала покаяния. За много лет до последнего своего стихотворения написала она «Магдалину», в которой, быть может, видела и себя свою дорогу к Храму:

*«Как трудно и страшно сгибаться коленям, / Когда, поднимаясь по скользким ступеням, / Идёшь, как на суд, в это зарево дня – / Оттуда, из самого страшного ада, / Где пела полночная дура-цикада, / Кошунственным пеньем рассудок пьяня. / Душа уж готова сама устремиться / К орудиям пыток, в костры инквизиций, / И горек миндаль в запоздалом цвету. / И жаждешь ты казни египетской, лютой, / Один на один с этой страшной минутой, / Когда милосердие не вмоготу...»*

Соседка, которая присматривала за умирающей Лидой, рассказала, что перед последним своим вздохом Лида вдруг начала махать руками, будто оборонялась от нечистой силы или – взлетала! Она отошла от мирской суеты, а мы продолжали в ней пребывать, накапливая грехи.

### **«Этих лет золотые деньки...»**

Очень интересно всегда было у Люды Енисеевой-Варшавской! Люда устраивала литературные вечера в театре им. Лермонтова или в библиотеке Пушкина (ныне Национальная библиотека), куда приходило много народа: поэты, артисты, киношники, архитекторы и художники, учёные и археологи, да и просто люди, которые тянулись к культуре. Кого там только не было! Бывали такие вечера и в залах Академии наук, и, конечно же, в Союзе писателей.

Неизменны они, незабвенны этих лет золотые деньки. Содрогались от пения стены, пламенели глаза от строки. Собирались огромные залы, чтобы слушать стихи нараспев, – от седых ветеранов усталых до румяных, восторженных дев. На вопросы так много ответов. Красный шарф. Нараспашку пальто. Сколько было там первых поэтов, и вторым не желал быть никто! Сколько было цветов и оваций! А потом – был обычай такой: шли к кому-нибудь шумной толпой – пить вино, говорить, целоваться. И опять – то стихи, то гитара, вновь сияние любящих лиц. И остались над городом старым голоса наши в пении птиц...

Параллельно с Енисеевой собирала любителей литературы и Светлана Назарова, сама поэт и прозаик, автор нескольких книг (особенно я люблю её рассказы «На горе Арарат...» и «Мой зеленоглазый Аруах»). Резкая, иногда через край категоричная, она в то же время и через край влюблялась, восторженно относилась к любому таланту, порой даже совсем небольшому, и пишущий народ тоже её обожал. Для неё не было «маленьких людей», «травинок»:

*«Травинки малой краткое житьё / Внимания и жалости не стоит, / Но аромат космический её / Одну из тысяч истин нам открывает...»; «И небесам, и водам я своя, / Незванному чувству единенья. / И тысячи разьединённых «я» / Приют найдут в моём стихотворенье...»*

И это правда: Светлана соединяла людей – и в жизни, и в стихах, она оставила множество прекрасных строк любви к друзьям.

Публика обычно перетекала от Енисеевой к Назаровой и наоборот. Собрания эти фиксировал на фотоплёнке известный в городе фотохудожник Валерий Коренчук. У него хранится богатая фототека творческой Алма-Аты. О каждом из этих людей можно написать отдельный рассказ, а то и роман.

Нужно вспомнить ещё музыкальные вечера Ольги Качановой. Одно время она с мужем Вадимом Козловым даже создала театр бардовской песни, где не только они сами выступали, сочиняя песни, но и приглашали бардов из Москвы, Петербурга, других городов. Потом появились новые бардовские коллективы и отдельные исполнители авторской песни, которые и до сих пор действуют и даже побеждают в разных международных конкурсах бардовской песни, та же Вета Ножкина. Барды охотно приходили на литературные вечера и к Енисеевой, и к Назаровой, и в Союз писателей, несомненно, оживляя их. А была ещё Ольга Марк, объединявшая вокруг себя аванградную пишущую молодёжь, которая встала в оппозицию к Союзу писателей. Как же без оппозиции? Скучно! Теперь я философски отношусь к манифестациям «марковцев», к их литературным фокусам, а раньше всё это сильно задевало и вызывало возмущение, а их возмущал – наш «заградотряд» на подступах к Союзу писателей и ценностям русской литературы.

### Ольга Марк

Я приходила к Ольге – по её приглашению – поговорить. Ну и как я понимаю теперь, Ольга сделала меня своим информатором в Союзе писателей. Ей было интересно, что там происходит, какие ветры дуют. Я была как бы послом доброй воли с вражеской стороны. Всякий раз она встречала меня в своей маленькой комнатке, где на подоконнике грелось на солнце лимонное дерево с желтеющими плодами, в клетках верещали попугаи, а вдоль стен высились стеллажи с плотно поставленными книгами. Ольга обычно сидела за компьютером и всегда была великолепна: тщательно причёсанная, с жемчужным ожерельем на стройной шее, с белейшими, фарфоровыми пальцами, возложенными на какую-нибудь книжную новинку. Она хотела поговорить о ней. Её лицо, с лёгким восточным отсветом (отец – китаец) светилось умом, если бы не желчь... Ольга была желчным, резким человеком. Была человеком, не терпящим возражений. Может, потому, что родилась не как все – она передвигалась в инвалидной коляске, яростно выживая: получила прекрасное образование, защитила диссертацию филолога, преподавала в университете, писала статьи по творчеству Владимира Набокова, по казахскому фольклору. Кроме того, сама сочиняла прозу, и познакомились мы с ней как раз по этому поводу. Вера Савельева, которая работала с Ольгой в университете, однажды принесла мне её рукопись – фантастическую: мол, погляди, мне кажется, там что-то есть. И хотя я не особо люблю фантастику, однако не заметить литературный талант Ольги было невозможно, и я взялась её напечатать в «Просторе». Печатала и другие её сочинения, а «Простор» выписывал гонорар, и я его привозила Ольге, чтобы хоть как-то помочь. С тех пор мы с Ольгой стали общаться. Родители её, чудесные, несчастные люди, которые потеряли сына и теперь ухаживали за больной дочерью, всегда ласково встречали меня, мама поила чаем с домашним печеньем и благоговейно слушала наши беседы. После своих пространственных литературных монологов Ольга начинала наступление, склоняя меня перейти на свою сторону и признать, что журнал «Простор», –

который печатал её! – безнадежно устарел, даёт одну скукоту, нафталин, да и книги наших писателей – членов СП – дребедень, а вот творчество её молодого окружения – несравненно лучше, современнее, свежее. Я так не считала, но вежливо выслушивала её, не ввязываясь в бессмысленный спор, давала излить желчь. Я молча попивала чаёк, который подливала мне её мама, недавно пережившая очередной инфаркт. Она с сочувствием, как мне кажется, поглядывала на меня. После пылких речей Ольги мы расставались – до следующего приглашения на беседу, где всё повторялось. Почему я приходила к ней? Во-первых, люблю умных, нестандартных и талантливых людей; во-вторых, мне тоже было интересно, что делается в стане «оппозиции». А поношение «Простора»? Так и «Простор» не щадил другие издания: «Ниву» В. Гундарева, «Аманат» Р. Сейсенбаева, журнал О. Марк «Аполинарий», считая их самозванцами. Критиковали и «Сибирские огни», и «Юность», и даже «Новый мир». Это – увы! – обычное бытие конкурирующих изданий. Я могла бы, конечно, взбунтоваться, ответить Ольге на её выпады против «Простора», но считала бесчеловечным обижать фаната, который свято верит в свою правоту, да и вряд ли бы я переспорила её: у неё был характер диктатора, но – и дар лидера, жёсткая, мужская хватка, может, потому она выбрала себе мужской псевдоним: Марк.

Ольга умела подчинить своим идеям многих людей, которые становились её преданными сподвижниками, а теперь, после её смерти, и продолжателями её дела. С их помощью Марк стала издавать журнал «Аполинарий», а потом и книги своих учеников, создала Фонд «Мусагет», где были литературные курсы. Спонсировали эти проекты иностранные меценаты, и тут придётся говорить осторожно, стараясь не выступать в роли судии, ведь Ольга, несомненно, была яркой личностью, и шла на всё ради осуществления своих идей, которые изначально были, конечно же, благородными.

\* \* \*

В 90-е годы, с развалом СССР, в постсоветских республиках творческая молодёжь осталась беспризорной. Если раньше на её поддержку выделялись государством финансы – через творческие союзы и комсомол – то теперь финансирование прекратилось, и не только молодёжь пострадала, но и сами творческие союзы. Они были отправлены в свободное плавание и зарабатывали на своё существование, кто как мог. Например, Союз писателей стал сдавать в аренду свои помещения, и вскоре у него осталось только несколько комнат, все остальные были заняты разными фирмами, далёкими от литературы. Ольга Марк взяла под крыло бесхозную пишущую молодёжь. Как все молодые, во все времена, наши начинающие стихотворцы тоже жаждали обновления Слова, новых литературных форм, нового взгляда на современность, были в оппозиции к официально признанной литературе. Это закон прогресса, но, к сожалению, существует ошибочное убеждение: чтобы построить новое, надо под корень рубить старое, как в революционной песне: «...*Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем, мы наш, мы новый мир построим: кто был никем – тот станет всем!*» Свергнувшие Бога атеисты лозунг: «*Кто был никем – тот станет всем!*» взяли из Библии. Молодые, задиристые стихотворцы Ольги Марк пока что были «никем», их не признавали литературные «старики», но энтузиазм Ольги вселял надежду, что они станут «всем», докажут миру и городу свою творческую состоятельность.

Так же вели себя и мы в начале своего творческого пути, отрицая «стариков» с их коммунистическими гимнами.

Знаю по рассказам моего мужа Игоря Бек-Софиева, как в Париже молодые русские поэты-эмигранты, которых тоже не признавали «старики»: Бунин, Ходасевич, Мережковский и другие, создали свой Союз молодых русских поэтов и писателей Франции, и стали они собираться на вечера поэзии, стали издавать книги и газеты. А «старики» поглядывали со стороны – с ироничной улыбкой, но потом постепенно начали признавать молодую поросль, читать их публикации. То же происходило и у нас в 90-е годы. Но чтобы проект Ольги мог осуществиться, нужны были средства. Сначала журнал «Аполинарий» издавали вскладчину члены ее литературного кружка. Потом Ольге удалось привлечь зарубежные фонды, и тогда она смогла не только организовать литкурсы, но и книги издавать, и многие её ученики увидели свои первые книжки, в то время как пробиться в государственные издательства молодому писателю было практически невозможно.

Не знаю точно, какой именно зарубежный фонд был меценатом проектов Ольги Марк – вроде бы, Нидерланды помогали, – но в Казахстане тогда активно присутствовал Фонд Сороса. В начале 90-х мало кто из нас знал, кто такой, на самом деле, этот заокеанский «добрый дядюшка». Думаю, что и Ольга не знала истинного лица подобных Фондов, «помогающих» неправительственным организациям.

Однажды мне довелось быть в жюри конкурса на лучшие стихи и прозу молодых. Спонсировал этот конкурс как раз Фонд Сороса. Мы прочитали тонну рукописей, и не зря: несколько талантливых ребят были обнаружены, и стали потом профессиональными поэтами, оторвавшись от Бродского, которому подражали. А тогда, на деньги Сороса, были изданы два коллективных сборника победителей: «Проза» и «Поэзия», а нам, членам жюри, выдали по сто долларов: в то время, при нашей бедности, это был неплохой гонорар. Часть «сребреников» я потратила на шубу из крашеного кролика. Это была моя первая (и последняя!) шуба. Сделана она была в Китае. При любом контакте с китайским кроликом руки становились чёрными и я их поминутно мыла. В конце концов, пришлось шубу спрятать в чулан и там её благополучно съела моль, которая, наверно, отравилась плохой краской: весь чулан был усыпан дохлой молью. Где «грязные» деньги – там «грязные» шубы. Был у меня такой грешок!

Это теперь появилась масса разоблачительных статей о Соросе, а тогда мы наивно верили, что наш зарубежный друг искренне хочет нам помочь, не подозревая о его коварных замыслах создать в постсоветских республиках и странах бывшего соцлагеря «пятую колонну» – из молодёжи, самой ещё не стойкой, не сформировавшейся лично части общества. Сначала подкармливать, а в нужный момент вовлечь в очередную цветную революцию, чтобы они растлевали свою национальную культуру, свою веру – уничтожали духовность, а значит, и народ, который потом легко сможет поработить алчный западный завоеватель. Мы это наблюдаем сейчас на Украине: гражданская война, раскол православной церкви, возрождение фашизма – и всё это под присмотром американских советников. Это было и в революцию семнадцатого года в России: тоже гражданская война, уничтожение церквей и мечетей, изгнание самой просвещённой части страны – «философские пароходы», и так далее. И снова след Запада, которому не нужны сильные соперники, который хочет править миром и богатеть за счёт других.

\* \* \*

Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но однажды мышеловка захлопывается. И в Казахстане захлопнулась «мышеловка» «Сороса» и подобных ему фондов. Ученики Ольги Марк выбрали такое литературное направление, которое работало на духовное разрушение. Не все, конечно, поддались на эту уловку, были и те, кто вырвался из «мышеловки», кто стал настоящим поэтом. Мне нравится Айгерим Тажи (она, кстати, победительница многих международных поэтических конкурсов) и Елена Тикунова. Их душа осталась чистой, не затронутой червоточиной зла. Стихи этих поэтов, а также других учеников Ольги Марк, где нет зловредной идеологии, неоднократно печатались в «Просторе». Так что обида её последователей: мол, печатный орган СП их игнорировал, не совсем справедлива. Да, отрицал направление журнала «Аполинарий», но таланты – поддерживал.

\* \* \*

У Анны Ахматовой есть строки: *«Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда...»*. Так вот, была придумана пародия, которая напрямую относится к тем, кто питается с руки лукавых западных богатеев, типа Сороса – мецената цветных революций, паталогического любителя всяческих извращений: *«Когда б вы знали, из какого Сороса / Растут стихи, не ведая стыда...»* Стыда там, в самом деле, не было и нет – ни у Сороса, ни у стихотворцев его фонда, выбравших, по мнению пародистов, *«нетрадиционную литературную ориентацию»*.

Традиция – это корни. Писатель без корней, как перекасти-поле, легко полетит за любым ветром. Этим и пользуются западные совратители. Но как бы, в разные времена, ни сбрасывали Пушкина, а с ним и всю классическую русскую литературу с корабля современности, они живы, а корабли терпят крушение. Пушкин, как и вся литература XIX века, не случайно названного *Золотым*, понял закон небесной гармонии, и к ней, двигаясь по спирали времени, неизменно будут возвращаться новые поколения творцов, и никакие Соросы не смогут это изменить, как и то, что Поэзия всегда будет целомудренной, сколько бы ни пытались её насиловать. О девическом её целомудрии – на закате жизни – говорил Николай Заболоцкий, который прошёл путь от формалистических поисков, от авангардизма «Столбцов» – до классического стиха: *«Вечно светит лишь сердце поэта / В целомудренной бездне стиха...»*

## ГОРОД ПОЭТОВ И ЧУДАКОВ

### «Пунктир»

У Вересаева есть «Пунктирные рассказы». Отличная писательская находка! Я не стала изобретать велосипед и переняла у Вересаева этот удобный для краткого повествования жанр. Мои рассказы о людях в этой книге почти все *«пунктирные»*, и в «Городе поэтов и чудаков» тоже будет *«пунктир»*.

Алма-Ата стремительно меняется и всё меньше остаётся в ней от старого казачьего форта Верного, от Алма-Аты военных лет, от Алма-Аты моей юности. Теперь она даже называется по-другому – Алматы. Но в памяти – прежняя. В па-

мяти моей Алма-Ата навсегда останется Городом с большой буквы, где буйно цвели сады, пахло урюком и яблоками, в арках звенела чистая горная вода – её можно было пить, водились горлинки и с горных прилавков прилетали розовые дрозды, синие галки, другие экзотические птицы, когда по улицам ходили великолепные, яркие люди, и некоторых я знала: пушкинист Николай Раевский, оперный певец и коллекционер-нумизмат Николай Гринкевич, вернувшийся из эмиграции, из Болгарии, он пел в церковном хоре, его сын стал священником; выдающиеся художники Сергей Калмыков, Гульфайруз Исмаилова, Евгений Сидоркин, певица Бибигуль Тулегенова.

Раньше я Бибигуль часто видела возле консерватории, где она, несмотря на преклонный возраст, продолжала работать и была всё так же прекрасна: гладко причёсанная, с тяжёлым узлом густых волос. Когда-то косы были чуть ли не до земли, а сама – стройный тополёк. Бибигуль – моя землячка, из Семипалатинска. Семья её жила в страшной нужде, рано оставшись без отца. Девчонкой Бибигуль работала на мясокомбинате. Уже и тогда хорошо пела. Ей говорили: мол, надо тебе в консерваторию, а она недоумевала: ведь консерватория – это место, где делают консервы, где она и так работает, зачем ей в другую консерваторию? Юной Бибигуль повезло: в Семипалатинск сослали писательницу Галину Серебрякову, мать которой была музыкантом, и она взялась обучать Бибигуль пению. С этих уроков начался путь девочки из консервного цеха на большую сцену, мировая слава.

Алма-Ата – это Город красавиц, потому, конечно, и художница Гульфайруз Исмаилова тоже красавица, как и Бибигуль. Они дружили. У Гульфайруз у самой был прекрасный голос. Впервые о Гульфайруз я услышала от моего любимого, от художника Валерия Азарова, который учился в Алма-Ате в художественном училище, где преподавала Гульфайруз. Вспоминал: «Мы тайком крались за ней, чтобы вдохнуть неземной аромат её духов. А уж глядеть на неё даже боялись: можно было ослепнуть от её красоты!»

Познакомила меня с Гульфайруз Люба Шашкова, которая написала о Гульфайруз книгу и стихи. Стихи о том, как мы пили золотистые коктейли в кафе «Театральное», как бежали потом под дождём в мастерскую Гульфайруз, как она хотела написать портрет Любы – в коралловой блузке, с рыжими распущенными волосами, в июльских струях внезапного дождя. Правда, шутила: «Как ты тонка, тебя нельзя пришипилить ни на один холст!» Да, тогда и Люба, и я были «тонки», а теперь – превратились в очень «крупных поэтов», если считать в килограммах и килокалориях.

Я и в кафе любовалась Гульфайруз, и в мастерской глаз не могла оторвать от неё: великолепна и умна! На своих картинах она любила изображать танец. Особенно мне нравится её большой холст с танцующей Шарой – ослепительной красавицей: вихрь юбок, страсть и огонь в изгибе тела. Создаётся полная иллюзия движения, живого танца. Вот-вот выскочит из рамы, поднимет бурю прямо в музейном зале, засмеётся и убежит, завихрившись облаком алых юбок.

Помню и мужа Гульфайруз, Евгения Сидоркина: в берете, курносое русское лицо – ничем не примечательное, но тоже выдающийся художник, пленённый когда-то красотой Гульфайруз настолько, что последовал за ней из Ленинграда, где они вместе учились в Академии художеств, в Алма-Ату, на край света, и прославился здесь, очарованный казахским эпосом и восточными красавицами, которых воспел в своих графических работах.

Была я знакома и с художниками Альбертом Гурьевым и Наташей Яровой (у меня есть несколько их авторских работ); дружила с этнографом Володей Проскуриным; знаменитого писателя Юрия Домбровского не видела, но много слышала о нём от тех, кто видел, зато знаю его жену Клару Турумову; прогуливался по нашим улицам и весёлый, яркий прозаик Морис Симашко, а также сын академика Вавилова, брат поэта Павла Васильева, Виктор Васильев – талантливый прозаик, который наезжал в Алма-Ату из Омска (судя по брату, в старости Павел Васильев был бы так же красив, как в молодые годы, доживи он до преклонных лет); я видела, как катил очередную детскую коляску выдающийся певец Ермек Серкебаев, родивший талантливое музыкальное потомство; видим мы иногда прославленного актёра, а с недавних пор и писателя, Асанали Ашимова, и не только в кино, театре и на писательских съездах, а и когда пьём коньяк «Асанали» – с его автографом на этикетке (поэты, конечно, тут же пошутили: мол, Ашимова приняли в члены СП за роспись на этом коньяке); забегал в гости к моим родным – Новожиловым – кинорежиссёр Шакен Айманов (он мой земляк, теперь на въезде в Баянаул стоит большой памятник – Шакен с кинокамерой); можно было встретить на наших улицах героев войны и писателей Бауржана Момышулы, Леонида Скалковского, Дмитрия Снегина, написавшего книги о городе Верном, прославленного партизана Касыма Кайсенова – громкоголосого, всё ещё не навоевавшегося и размахивающего палкой; всегда куда-то торопился профессор университета Александр Лазаревич Жовтис, небольшого росточка, с тонким женским голосом, но железным характером, беспощадный даже к любимым студентам. Он переводил корейскую поэзию, писал литературные статьи, в том числе о моей свекрови, поэте русского зарубежья Ирине Кнорринг – в 60-е годы с его предисловием вышла её первая книга на родине, когда всё ещё было опасно поддерживать эмигрантов (Твардовский – побоялся, Жовтис – нет, за что семья наша ему благодарна). Окружённый толпой учеников (самый яркий из них Слава Карпенко – теперь житель бывшего Кёнигсберга и земляк Канта) бодрой походкой шествовал писатель и биолог Максим Зверев – могучий старец, доживший до ста лет. Он вспоминал: «Когда мы были молодыми – когда нам было по восемьдесят лет, издатели к молодёжи относились внимательнее...» Зверев оправдывал свою фамилию: он писал о природе и животных и в его городской усадьбе жил волк, подаренный охотниками, а также говорящий ворон Рёша, который любил дразнить волка: подлетал к его клетке во дворе и трещал: «Сволочь! Сволочь!», на что благородный зверь только зевал. Тогда Рёша возвращался к хозяину и его обзывал, но Зверев не обижался, угощал Рёшу сыром. Перед завтраком Рёша воровал со стола варёные яйца и прятал под коврик у входной двери. Большой был проказник! Поэт Таня Фроловская одно время работала у Максима Зверева литературным секретарём, а потом стала гулять по своему дачному посёлку с тенью Льва Гумилёва, о котором написала замечательную книгу «Евразийский Лев». Иногда к ним пристраивалась тень поэта Бориса Пастернака, о котором Таня тоже написала, и Лермонтова они брали в свою компанию – тому есть подтверждение: в «Лермонтовской энциклопедии» статья Тани о Михаиле Юрьевиче. Но всем им никогда не удавалось далеко уйти – их догонял муж Тани, Эдуард Джилкибаев (он же Кешин). С ним в паре Сергей Есенин – выпрыгнул из книги Эдика «Любовь хулигана». К нему сбегались бродячие собаки, давали на счастье лапу: Есенина знают не только московские собачьи подворотни, но

и алма-атинские – поют его стихи городские барды. А ещё неизменно рядом с Эдиком был Пушкин, о котором он тоже написал занимательное эссе. Так и жили большой литературной семьёй.

\* \* \*

Они ушли друг за другом – Татьяна и Эдуард, осенью 2019 года. Так неожиданно: казалось, они будут жить ещё долго-долго, ведь молодо и бодро выглядели даже и на восьмом десятке, хотя последнее время Эдик передвигался в коляске, а Таня ходила с палочкой. И как их не стало – обнаружилось, что возникла пустота, которую ничем не заполнить. Обнаружилось, что это были блестяще образованные люди – такие теперь встречаются всё реже, а Эдик – рыцарь, каких нынче немного. Когда я на заре туманной юности, ещё категоричная в суждениях, критически отозвалась о стихах Татьяны Фроловской (тогда тоже молодой – она издала, кажется, первую книгу), то Эдик грудью встал на её защиту, пылко ответил мне в прессе, разве что не стрелялся со мной. Я же говорю – рыцарь!

Литературные семьи редко выдерживают срок в 55 лет, а именно столько Эдуард прожил с Татьяной. Влюбился в неё сразу, как только увидел. У него был соперник – состоявшийся учёный, профессор, но Эдик его победил. Он сказал Тане, которая была на две головы выше его (ростом): «Ты всегда будешь для меня первой, ты – Поэт, а я буду тебе служить!» Какую женщину не сразят такие слова? И она вышла за него замуж, отказав профессору, а Эдик сдержал слово: сделал всё, чтобы она занималась только творчеством. Обычно говорят о жёнах писателей, которые пожертвовали собой ради них, и никогда – о самоотверженных мужьях. Эдуард Джилкибаев был именно таким мужем. А ещё они всю жизнь строили свой Дом в дачном посёлке Алатау – в стороне от городского шума, в окружении сада, гор, птиц, любимых собак (это были неизменно таксы). А ещё это весёлые, никогда не унывающие люди. Вот две байки из семейной жизни дачных отшельников. Одна – о пальто. Как-то Таня приехала в город в новом пальто модного покроя. «Где взяла?» – заинтересовались литературные дамы. «Эдик сшил! Расстелил на полу ткань, уложил на неё меня, обвёл мелом, выкроил и сшил!» (совсем как в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова: Остап Бендер так же рисовал плакат с сеятелем, обведя контур Кисы Воробьянинова). Вторая байка про две макушки. Таня однажды обнаружила у себя на голове две макушки и тут же вспомнила народное поверье: если две макушки – будет два мужа. Эдик просто разрешил это предсказание: мол, у меня же есть псевдоним Константин Кешин (Константин – из любви к Константину Паустовскому), и люди часто считают, что Эдуард Джилкибаев и Константин Кешин – это два разных человека. Так что у тебя, по сути, два мужа.

Десять дней перед кончиной Эдик не спал, и Таня не спала, неотлучно находясь подле него. Наконец, взмолилась: «Ну, поспи же хоть часок!» Нет, не спит. Сама не заметила, как провалилась в сон. Потом корила себя за это. Очнувшись, видит – Эдик лежит с открытыми глазами. «Ты спал или нет?» – «Спал, спал...» А потом и говорит: «Вот хоть ты и кричишь на меня, и тапками машешь, а я тебя всё равно люблю...» И ушёл с улыбкой на губах, чтобы не огорчать её печалью. Да-а, великая любовь бывает не только в книгах, а мы жили рядом с ней и не замечали, ведь Эдик с Таней мало походили на романтических влюблённых Три-



стана и Изольду или Ромео и Джульетту: крупная, громкая, бесстрашная Татьяна, которая боролась в судах за права дачников, переводила суровые стихи батыра Махамбета – и маленький, суетливый Эдик, с тяжёлыми сумками, полными продуктов: он их приносил с рынка, по соседству с которым работал в отделе культуры газеты «Казахстанская правда». Если попадался спутник, то он, считай, пропал: Эдик оглушал его, как рыбу динамитом, потоком восторгов от недавно прочитанной книги или театрального спектакля, он произносил целую лекцию о музыкантах всех времён и народов, он выкладывал устные мемуары о великих людях, с которыми ему довелось встретиться в старой Алма-Ате. Что греха таить, мы добродушно иронизировали над этой его суетливостью, над непомерной восторженностью, которая казалась наигранной, немного театральной, но это не было актёрством – это было его естество: говорить восклицаниями, парить над обыденностью, и... прятать свою нежность к Тане от посторонних глаз, оберегать их любовь. И они её сберегли, и ушли почти одновременно: Таня через сорок дней после Эдика.

\* \* \*

По Городу лёгкой походкой летал когда-то солист балета Булат Аюханов (я его помню только таким!), теперь ходит с палочкой, но всегда подтянут, спина прямая, под воротом белоснежной рубашки яркий шейный платок. Артист навсегда! Спектакли ставит и теперь, и каждый – событие! Он учился в школе, в одном классе с моим первым мужем Олегом, и стал зятем моей подруги Галии Машаковой: муж Галии, Казбек Унгаров, и жена Булата, Райхан (тоже балерина) – родные брат и сестра. Мир воистину тесен! Все были на свадьбе у моей Галии, в тесной квартире Машаковых. Мы с Олегом принесли нашего семимесячного сына Дениса, которого гости по очереди тискали, а он радостно орошал гостей.

Торопится к сыновьям всегда юная Роза Рымбаева. Когда-то маленькую Розу из дальнего аула привёз в Семипалатинск начинающий музыкант Бари Алибасов – ныне известный продюсер, создатель ансамбля «На-На» и большой мистификатор. Родители Розы попросили Бари – их односельчанина – довести дочь до города, для поступления в училище. Роза так боялась дороги и автобуса, что, забившись в уголок, не осмеливалась даже выходить на остановках, – вспоминал Бари. Теперь она блещет на мировых сценах!

Кажется, что вот-вот появится с корягой под мышкой колоритный скульптор Иткинд – мудрец, с лицом, будто выточенным из корня: он любил корни, он высвобождал из них человеческие лики. Неторопливо шествует Олжас Сулейменов – высокий, красивый, со знаменитой своей прядью на лбу, которая делает его похожим на Чокана Валиханова. Говорят, Султан Ходжиков предлагал Олжасу роль Чокана в своём фильме «Его время придёт», но Олжас уехал учиться в Москву, и на роль взяли другого актёра. *«Мы, высокие, будем стоять!»*, *«Возвысим Степь – не унижая горы!»* Это всё он – Олжас. Он и теперь, на девятом десятке, высок и прекрасен!

Наполняли Город неумолчным гвалтом и толпы моих ровесников-поэтов – они проходили с гитарой по зелёным скверам, они пытались нырять в фонтаны, и за это комсомольский патруль грозил им разными карами, они куролесили и сочиняли экспромты, лёжа на попоне возле дождевого озера, где квакали ля-

гушки – в гостях у Саши и Нины Шмидтов, в районе аэропорта: Шмидты там снимали квартиру. По временам с воем проносились над нами самолёты, но и они не могли заглушить стихотворный поток, который мы посылали в звёздное небо, сбивая с курса лайнеры.

*«Здесь звёзды глядят так пристально, подробно и в упор / На тебя одного. / Мириады, неисчислимые множества, / Что становится не по себе: / Что-то, по-видимому, только они смогли разглядеть / В тебе, что-то единственное...»*

Это Саша Шмидт читал, там, на берегу лягушачьего озера, свои стихи, а Нина шутила: «Он перед стихами двадцать раз почистил зубы, потому что немец!» И до сих пор бродит там Эхо нашей молодости, и отвечает ему другое Эхо – уже с германских берегов, куда Судьба занесла в начале нового века Сашу с Ниной и похоронила там Нину рядом с русскими эмигрантами Гражданской войны, а Саша стал писать совсем другие стихи. У всех наших писателей, уехавших за рубеж, в книгах не стало счастья. Они погасли. И вспыхивали вновь, только когда писалось о днях, прожитых на родине. Было это и с эмигрантами первой волны, и с последующими «волнами». Эхо доносит и эти строки печали:

*«Кто ты, где ты, человеке? – / Вдруг очнёшься ночью злой – / На каком земном наречье / Мать звала тебя домой? / Кто ты? – грек или китаец, / Иль, быть может, иудей, / Нелюдимейший скиталец / В лютом сонмище людей. / Где ты? – выронивший имя, / Проворонивший себя, / Гражданин какого Рима? / Мимо – снова не судьба? / Кто тебя к такой-то маме / Спыну ль, сослепу завёз? / Ночь зияет чёрной ямой, / И пылает известь звёзд...»*

И ещё были люди, и ещё, и ещё – всех не перечислить. Если я начну упоминать всех, не хватит типографской бумаги. Так что, пусть простят меня мои прекрасные друзья и все замечательные современники, и ученики мои, кого я не назвала. Все оставили след в нашей культуре, о них говорили, о них писали – и теперь говорят и пишут. Я тоже писала о них в своих эссе и разных статьях, и не только о старшем поколении и о своём, но и о новом, молодом. Надеюсь, долгов у меня осталось немного, и есть одна молитва:

*«...Средь дней моих быстротекущих, / Среди ветров, нам жилы рвущих, / Я Небо вечное молю: / Дай мне уснуть обнять живущих, / А канувшим сказать: "Люблю!"...»*

\* \* \*

«Пунктирные рассказы», конечно, не дают объёмного представления о людях и времени, несколькими словами не слепить образ каждого, но я попробую хотя бы так, быстрым контуром – *«пунктиром»* – очертить атмосферу нашего молодого бытия, которое перетекло потом в пожилое, рассказать о некоторых из них – о тех, кого я видела и знала лично, вспомнить о Городе нашей любви и творчества. Вспомнить весело!

Мы жили, как живут на свете одни безумцы или дети – в плену первоначальных слов. Легко забрасывали сети – и забывали про улов. Следили, как уходит в небытие за веком век. Брели под кров, не помня дней, где были сами... Мы жили так под небесами, как будто мир и свеж, и нов, и полон красок небывалых, и много раз не повторён в словах и музыке времён, и на полотнах обветшалых. Мы жили так. Ловили твердь в свои расставленные сети – безумцы скорбные или дети, не знающие слова «смерть»...

## Французские духи на разлив

Да, Алма-Ата – Город больших детей, Город чудаков. Ходит по улицам борец с коррупцией Амантай-кажи – в белых одеждах, сердито стучит посохом и кричит: «Аттан Казахстан!». Развешивает между деревьями и столбами белые полотнища с оппозиционными лозунгами. Он мог стать нашим Президентом – выдвигался. По проспекту Абая несётся в ванне на колёсах изобретатель экзотических «ванно-мобилей» – весь в мыле, а за ним гонится полиция. На нашем микрорайоновском рынке продавщица яиц исполняет арии из опер и казахские народные песни – для привлечения покупателей. Возле неё всегда толпится народ. Споёт – и весело ставит автографы на яйцах, и продаёт их дороже своих конкурентов, но берут у неё. Вот изготовитель ключей – тоже себя рекламирует: «Свежие ключи от Сапара!» Вот частная клиника «Азраил». Азраил, как известно, на Востоке ангел смерти, так что клиника не только частная, но ещё и честная. Вот тир: «Отомсти!» Вот баня «Парнас» – со спецслужбами: видно, хозяин бани считает, что Парнас, парная и порнуха – это одно и то же. Может, он и прав. Вот кафе «Блатная узбечка», а вот другое кафе – «Белочка-2» (там вам обеспечат белую горячку, в «Белочке-1» уже обеспечили: и посетителям, и себе, потому кафе закрылось), а вот ещё одно кафе – «Торнадо» (поел там – и пережил увлекательное торнадо в своём желудке). Вот магазин вино-водочных изделий «Нирвана» и тут же ларёк: «Французские духи на разлив» – из большой бутылки вам в пузырёк – через воронку – отольют порцию духов. Хоть пей, хоть на голову лей! Вот ещё ларёк, где продают всякую мелочёвку, в том числе сигареты с надписью: «Минздрав предупреждает...», и на сигаретной пачке рисунок: отрезанная нога. Продавец, с синеватой щетиной – видимо, только что сбрил «синюю бороду» – с тремя обручальными кольцами на пальце и брачным объявлением на красной майке: «Всегда женюсь!», назвал свою торговую точку «Вендетта». Спрашиваю его:

– Ты хоть знаешь, что такое «вендетта»?

– Не-е...

– А зачем так назвал?

– Слово красивый, как дэвушка: Лизетта, Мюзетта, Вендетта! Фильм «Соломенный шляпка» видел? Вах! Сколько было дэвушка! Жених даже шляпка съел!

А вот алма-атинский «Арбат». Там художники выставляют свои картины, могут тут же нарисовать ваш портрет: если хотите, в обнимку с Филиппом Киркоровым или с голливудской звездой Анджелиной Джоли. Там стоят музыканты: кто с баяном, кто с гитарой, кто со скрипкой. Там поэтесса из народа читает стихи. Она похожа на старуху Шапокляк: в шляпке с вуалью и явно давно не мытая. Когда прохожие советуют ей сначала помыться, потом выступать, она гордо вскидывает птичью головку: «Это – не грязь! Это запах моей честной поэзии!» Люди смеются, но есть и поклонники – подают денежку, а иногда и рифму.

## Марсианьч

Юрий Домбровский в своей книге «Хранитель древностей» так писал о старой Алма-Ате, когда она была ещё городом Верным: *«У города Верного (...) была тревожная и плохая слава. Его знали как край света и гнездо землетрясений необычайной разрушительной силы, как город на вулкане...»*. И в то же время:

«Дивие козочки забегают осенью и ягнятся в окраинных садах. Словом, нигде в мире, сказал мне один зоолог, дикая природа не подходит так близко к большому городу, как в Алма-Ате», и это, по мнению уже Домбровского, одно из объяснений, почему в Городе так много чудаков и поэтов. Говорят, наши Небесные горы (Тянь-Шань) обладают космической магией, а над холмами Кок-Тюбе часто висают светящиеся «тарелки» НЛО. Я их тоже видела, поднимаясь по вечерам на мансарду моей дачи: НЛО медленно проплывали над Кок-Тюбе в сторону обсерватории пульсируя бортовыми огнями. Художник Сергей Калмыков вполне мог однажды спуститься с неба на такой «тарелке», уж больно он был похож на инопланетянина – в своей расписной хламиде. И этот странный, карикатурного вида человек был и остаётся одним из поэтических образов нашей Алма-Аты. Город, охваченный вдохновением, явно создал Калмыкова в минуту хорошего настроения.

*«Он – леонардыч, марсианыч... / Приезжий спросит – кто таков? / Весь Город знал – Сергей Иваныч! / Иной подскажет – Калмыков. / Он гений был иль просто «рыжий», / Чудак из городских низов, / Чьи декорации в Париже / Вдруг удостоились призов? / Но Город жил в его рисунках!.. / Среди галактического льда, / Нет-нет, а лик свой и просунет / Раскосая Алма-Ата. / Меж звёзд, расцветенных неярко, – / В Коммуну, не куда-нибудь – / Сквозь арку Городского Парка / «Фордзон» пошёл на Млечный путь! / Ценились мало, прямо скажем, / И агитация сия, / И тяга к бытовым пейзажам / С прогалами небытия. / И вышло так – ему ль виниться? – / Пошли картины по рукам: / По нищим да по заграницам, / Да по столичным знатокам. / Ну как представить Город спящий / Без такового чудака? /... И нежный эльф, в рожок трубящий, / Меж звёзд, на крыльях мотылька... / Ну как представить Город денный / Без буйства неба и земли? ... / И вспоены единой веной / Апорт и та звезда вдали... / Как горы без него представить, / Без этих красок и холста? / Он ввысь тянулся, а туда ведь / Его тянуло неспроста. / Насторожившись по-оленьи, / Он угадал в Алма-Ате / Вот это горнее стремленье / Души и Корня – к Высоте. / С земли – к горе, с горы – в просторы, / А там – какой простор в мирах! / Так Город двигался на горы, / И утвердился на горах...»*

Строки эти написал алма-атинский поэт, и тоже с чудинкой, Вячеслав Киктенко. У него есть целая книга о нашем Городе и её чудаках. Она так и называется – «Город».

Калмыков довольно эклектичен и «цитирует» многих художников: «пятнистого» Борисова-Мусатова, театральные рисунки Бакста, сказочную кисть Билибина, длинные женские шеи Модильяни, стиль французских экспрессионистов, абсурдные – для обывателя – мысли Дали, линию Пикассо. Но, конечно, он причудливее всех. Таких стрекоз, эльфов, слонов на тонких ножках, танцующих космическое танго, восточных красавиц с кораблями на голове, кавалеров на птичьих лапах или с орденом Мухи на груди нет ни у кого. Он изобразил людей ХХХ века – с огромными глазами, красные скалы фантастических пейзажей, мир сновидческий, запредельный, красочный – и в этом неповторим. Он, уроженец Самарканда, впитал яркие краски азиатского, горячего юга, он эти краски нашёл и у нас в Алма-Ате. И наряд его был – пёстрой палитрой, маяком для небожителей. «На нём был огненный берет, синие штаны с лампасами и зелёная мантилья с бантами. На боку висел бубен, расшитый дымом и пламенем». Художник говорил о себе: глянут из Космоса небожители и среди земной серости увидят яркое пятно – это я вышел на улицу!

*«Он одевался не для людей, а для Галактики: для Марса и Меркурия, ибо он был «Гений Иранга Земли и всей Вселенной». И мудрые марсиане, наблюдающие в свои сверхмощные устройства, удивлялись и никак не могли понять: откуда же среди серой, одноцветной и однородной человеческой плазмы вдруг вспыхнуло такое яркое, ни на что не похожее чудо. И только самые научные из них знали, что называется это чудо фантазией. И особенно ярко распускается оно тогда, когда Земля на своём планетном пути заходит в чёрные затуманенные области Рака или Скорпиона и жить в туче этих ядовитых радиаций становится совсем уж невыносимо...»*, – таким увидел художника Домбровский в трагическом 1937 году, когда «тучи ядовитых радиаций» особенно сильно сгущались над страной.

Как-то психиатрическая клиника Алма-Аты устроила выставку живописных работ своих пациентов, и среди них – картины Сергея Калмыкова, хотя он никогда там не был, а выставили его, как образец психического отклонения от нормы. Если это отклонение, то что же тогда норма? Калмыков знал истину: *«Обо мне говорили. Недоумевали. Одни называли безумцем. Ему возражали. Другие повторяли за ним. Нет, я не безумен. Я вижу особые миры...»* Он обхитрил всех. Он всех одурачил. Он считал мир театром, как и бродячий комедиант Шекспир. Калмыков в «театре жизни» играл так же гениально, как и писал свои картины. Он стал шутком, и всё для того, чтобы идеологи соцреализма не ограничивали его рамками своих требований, а то и тюремными оковами, в которых оказались некоторые современники Калмыкова – талантливые, но нестандартные художники. Калмыков предпочёл стать городским сумасшедшим, эксцентричным чудачком, но не опасным для общества, не агрессивным, когда руки скручивают смирительной рубашкой. Руки были ему нужны! Он разгуливал в расписной хламиде – эта была одна из его многочисленных живописных картин, как и он сам для себя был объектом художественной фантазии и преобразования, и мало кто знал тогда, что он гениальный художник. Да Калмыков и не задумывался о своей гениальности: не выставлялся, не продавал картин, не публиковал рассказы, которые писал в большом количестве. Внешний эпатаж его был не только защитой от произвола сталинских репрессий, и, вообще, людского общества, а ещё и преодолением природной стеснительности: говорят, Калмыков был очень стеснительным и скромным человеком, хотя получил образование у прославленных художников Добужинского и Петрова-Водкина, работал в Оперном театре, дружил со многими знаменитостями того времени и мог бы этим козырять, но ему некогда было отвлекаться на поиски славы, он был озабочен тем, чтобы убрать понятие времени, чтобы на своих картинах вытянуть линии до бесконечности – перо и кисть это делали сами, он только следовал за движением руки и своими фантазиями, а ещё – он изучал себя, как самое занятное и загадочное явление: *«Я хочу видеть, понимать глубину того, что вижу перед собой, и того, что во мне...»* Он беседовал с Вечностью. Вот чем был он занят постоянно. Это пример самозабвенного погружения в самопознание, в творчество, в свои фантастические миры, полная свобода духа, к которой стремятся все творцы, но не всем это удаётся. Вот что он понял о себе и записал в «Справке для краткого энциклопедического словаря»:

*«В двух словах о своей жизни (...) Сергей Калмыков – художник-философ, художник-изобретатель, фантаст, автор многих книг, романов, своих дневников, жизнеописаний, неотправленных писем, посвящений, афоризмов, сарказмов*

и лирических стихов. Беспокойный, устремлённый, злой, всегда одинокий в своих исканиях. Он ищет в природе, в математических сцеплениях туманности, в необычной астрономике подтверждения своим фантастическим видениям. Территория Калмыкова густо населена и застроена. Воздух городской задымлен, полон туманов и звуков, испарений и пыли. Он опутан электрическими проводами. Техника Калмыкова – линия и цвет в движении и вибрации; форма – в полноте; цвет – в строгих сочетаниях; композиция – в заумных вариантах. Намерен жить до ста лет...»

Жить он, как гениальный художник, начал после своей смерти, и век его не ограничен временем. Я в этом уверена!

## Анти-Город

Если Вячеслав Киктенко восславил Город, то поэтесса Ольга Шиленко – ещё одна диковина Алма-Аты – Город развенчала. Высокая, с распущенными волосами, похожая на русалку, загорелая после Иссык-Куля, откуда она родом и где жили её родичи-казаки, ходит она всегда в экстравагантных нарядах со смелыми декольте. Она всегда отличалась нестандартным поведением, не так, конечно, как Сергей Калмыков, но тоже эпатуруя публику, тем более что по первоначальной профессии тоже художник. Её воспитывала прямодушная тётка-казачка, которая лихо правила быками, впряжёнными в повозку, и если быки артачились, упираясь рогами в землю, то тётка говорила им такие крепкие словечки, что у быков шерсть вставала дыбом и поднимала быков в намёт. Вот и Ольга: может прямо в глаза сказать правду-матку, из-за чего перессорилась со многими товарищами по перу. Один западный меценат, который посетил Алма-Ату, назвал её литературным экстремалом. Она и теперь, обременённая внуками, экстремалит! А в стихах – другая: нежная и трепетная. Она – сестра травам и цветам. Одно время мы с ней жили по соседству на дачах Аксайского ущелья. У меня ничего не росло, а вот Ольге стоило воткнуть в землю обычную палку, как она начинала зеленеть и цвести – такая в Оле удивительная сила. Приносила нам с Игорем из своего сада ведра персиков-нектаринов. Фантазёрка, она однажды показала красную травку у садовой изгороди и сказала, что семена этой травы прилетели с Марса. Всё могло быть! Я верила. Ольга и теперь сбегает из Города в природу, которая, пожалуй, главный герой её поэтических книг. С людьми Ольга плохо ладит, а с лесом, птицами, белками, бабочками у неё взаимная любовь. Книги Ольги Шиленко – это Анти-Город. Не конкретно Алма-Ата, а Город – как анти-под Природы, как нечто искусственное. Она, дерзкая, как воительница-амазонка, пришла такой Город разрушить:

*«Ещё молодая, лишь с белкой и сойкой / Дружу в этом диком лесу. / Послушайте, люди, меня – амазонку, / Быть может, кого-то спасу. / Оставьте квартиры и телециклопов, / Из газовых камер идите туда, / Где нет колдунов и льстецов большелобых, / Оставьте свои города. / Вставайте с колен, перестаньте молиться / Тельцу золотому, идите в туман. / Пусть свежие ветры обдуют вам лица. / Отдайте за парусник свой чистоган. / Реке поклонитесь, пещере и морю, / Пустыне, песчинке, звезде. / Покиньте тюрьму под названием Город. / Живите везде и нигде...»*

И древний Гильгамеш говорил: «Сожги дом – построй корабль».

## Дон-Жуан из попугаев

Вот ещё один примечательный человек огромного роста – всегда немного под шафе, а иногда и много! – Володя Проскурин, местный краевед и мой знакомец. Он мог часами рассказывать историю каждого дома, возведённого в былые времена, когда Алма-Ата была ещё казачьим форпостом Верным, знал он и о каждом камне, о который мы спотыкались, – а спотыкались часто! – и о многих замечательных верненцах. Говорил о них, будто о своих близких знакомых, с которыми виделся только вчера или сегодня утром. Например, о генерале Герасиме Алексеевиче Колпаковском. Это был его любимый «приятель», отличавшийся оригинальностью: тоже, видно, действовал на него наш, алма-атинский воздух, делая чудачком. Генерал порол тех, кто не хотел сажать деревья, и в результате этих пороков был создан один из самых зелёных городов Центральной Азии – наша Алма-Ата. Жаль, этот метод воспитания ныне утрачен, а так бы вся Степь стала райским садом.

Но Колпаковский не только занимался поркой, а ещё совершил много великих дел, и Володя их без конца перечислял: «Изыскал пограничные земли для переселенцев из Китая, построил город Джаркент, благоустроил Сарканд и Каракунuz, десятки селений и «кентов» с великолепными мечетями. На свои средства построил Ташкентский военный собор, православные храмы Заилийского края, в том числе в Алма-Атинской станице... Его так почитали, что увековечили на иконе. На образе Пресвятой Троицы Иссык-Кульской мужской обители изображён Преподобный Герасим, держащий в руках развёрнутый свиток с начертанною на нём картою всего Иссык-Кульского озера с окрестностями его. Он со-товарищи спас Пишпек и город Верный от нашествия кокандцев, став героем Узун-Агачского сражения, за что награждён орденом Св. Георгия. В Верном, окружённом кокандцами, находились жена Герасима Алексеевича и двое маленьких дочерей. Страшно представить, что было бы с ними, если б крепость пала. Казакам кокандцы отрезали головы и водружали на пиках – для устрашения, а плененных женщин угоняли в рабство...»

О Герасиме Алексеевиче Колпаковском Проскурин знал всё до мелочей: о его жене, Мелании Фоминичне, в девичестве Эмилии Чемберг, которая – ради любви! – из лютеранства перешла в православие и приняла новое имя, о детях, внуках и правнуках. Знал даже о попугае, который не только умел разговаривать, но, как утверждал Володя, обладал ещё цепкой памятью и логическим мышлением, и потому имел собственное мнение по разным вопросам, а к денщику Колпаковского, Софрону, попугай вообще относился иронично, и всякий раз ставил его в неловкое положение. Денщика это злило, в ответ он называл какаду «чёртовой птицей» и грозился выкинуть. Иногда попугай важно сидел на плече хозяина и покрикивал на окружающих или нежно ластился к хозяйке, Мелании Фоминичне, подыскивая ей приятные выражения, пел озорные птичьи песенки и всячески с ней заигрывал. Он был ещё тем Дон-Жуаном!

Иногда Проскурин увлекался какой-нибудь доисторической барышней, фотографию которой обнаруживал среди пожелтевших, хрупких рукописей архива, влюблялся в неё – и она отвечала ему взаимностью.

Однажды на задворках городского архива, в мусорном баке обнаружил он кучу таких фотографий и архивных бумаг. Документы отчего-то выбросили, а Проскурин спас. И долго не мог успокоиться, возмущённый варварством ар-

хивариусов. Я не входила в подробности этой истории, и потому не знаю, от каких именно документов хотел избавиться архив и по чьему повелению. Но не зря булгаковский Мастер говорил, что рукописи не горят. Их жгут, жгут, а они не горят! Документы – тоже, а в них – правда, которая порою бывает страшнее пистолета. Я помню, как писатель Кемель Токаев признался мне, что, собирая материал для своей документальной повести (возможно, о чекистах-казахстанцах «Меченое золото»), нашёл в архивах доносы, писанные уважаемыми людьми известными деятелями культуры, которых он боготворил. Токаев был так потрясён открывшейся правдой о них, что не мог спать, не мог дышать. Он пережил тяжёлое потрясение. А главное, не знал, что ему теперь делать с этой правдой, как писать книгу? Документы хранились в папках под грифом «Секретно» и долгое время оставались недоступными, но час настал – и правда всплыла наружу, и постыдные тайны были открыты!

В истории многое повторяется, взять хотя бы дни Февральской революции в России, когда тоже открылись архивы. Первым решением Временного Правительства была создана Чрезвычайная следственная комиссия под председательством юриста Н. К. Муравьёва для расследования деятельности царских министров. Ежедневно печатались документальные сведения о тайных агентах охранки и доносчиках III отделения. Поэт Александр Блок был назначен редактором стенографических отчётов комиссии и присутствовал на допросах. Отчёты изданы в 7 томах (1926–1927 гг.), а сам Блок написал потом очерк «Последние дни императорской власти».

Но вернёмся к Проскурину. Он теперь живёт в Германии, куда утянуло его семейство, пьёт шнапс и тоскует по возлюбленному Верному, по его камням и голосам из прошлого. В Германии уникальный архив Проскурина и его знания никому не нужны. Он продолжает писать свои этнографические очерки для «Простора», а в Интернете его знают под ником «Semirek». Он навсегда остался семиреком.

### «Индей» Домбровский

Глядел на раскопки сакских курганов в пригородах Алма-Аты (и даже открыл древний город) высокий, взлохмаченный человек, одетый, как попало, – писатель Юрий Домбровский, который одно время служил хранителем древностей в алма-атинском Воскресенском кафедральном соборе, ставшем в советские времена музеем (теперь это, слава Богу, снова действующий храм). Построил храм удивительный зодчий Андрей Павлович Зенков, и так построил, что во время страшного землетрясения, которое разрушило Город, храм устоял и поныне стоит, поднятый (по легенде) без единого гвоздя.

*«При грандиозной высоте, он представлял собой очень гибкую конструкцию. Колокольня качалась и гнулась, как вершина высокого дерева, и работала как гибкий брус...»*, – так объяснял А. П. Зенков стойкость своего храма. Уцелел и его дом. *«Я окопал свой дом антисейсмическим рвом... При землетрясении в шесть баллов только слышу гул, жду толчков, но их уже не испытывает мой дом, окружённый рвом. Семь месяцев ходят ко мне люди смотреть ров...»*

Домбровский книгу написал – «Хранитель древностей», и она прославила его во всём мире, а заодно и Алма-Ату, и наш уникальный памятник зодчества,



который сравнивают с храмом Василия Блаженного в Москве – они похожи своей красочностью, сказочной яркостью, радостным видом. Эти храмы, как детская улыбка Бога.

*«В этом лучшем творении Зенкова столько простора, света и свободы, что кажется, будто какая-то часть земного круга покрыта куполом. Это очень южный храм, в нём всё рассчитано на свет и солнце (...) Собор великолепен, он огромен и величествен так, как должно быть великолепно всякое здание вписанное в снега Тянь-шанского хребта (...) Зенков отдал Богу только то, что он много лет привык отдавать людям – белые высокие стены, белые же своды купола, в прорези которого видно чудесное алма-атинское небо, голубые и розовые иконы, похожие на картины. И писал эти иконы не монахи, не богомазы, а учитель рисования – художник Хлудов, такой же великий украшатель, как и сам строитель Зенков...»*

И о Хлудове Ю. Домбровский написал вдохновенные страницы, признаваясь, что долго не мог начать очерк о художнике – мастере этнографических рисунков, пока не открыл ключевые слова: он понял, что *«начинать статью о нём надо со слов «я люблю».* Это очень точные слова, и они сразу ставят всё на свои места. Так вот – я люблю!» И далее идёт поэтичный рассказ о Хлудове, скрупулёзно и точно воспроизводившем в своих рисунках детали одежды и быта степняков, и каждый абзац очерка начинается со слов: «Я люблю!» – это рефрен, это музыкальная фраза, пронизывающая литературную симфонию писателя. И все произведения Юрия Домбровского, так или иначе, были освещены волшебными словами: «Я люблю!», потому, может быть, и обладают магической силой, когда хочется его читать и читать, и невозможно оторваться, и когда читаешь – становишься счастливым. До Юрия Домбровского так завораживала меня только проза Бунина.

Иногда Домбровского сажали: посадят – выпустят, посадят – выпустят. В Алма-Ате – городе ссыльных – его всегда ждала семья Варшавских: актриса, красавица Люба Варшавская, и её муж, бывший сиделец, Лев Варшавский – киновед, писатель, человек редких знаний, который образовывал многих казахстанских кинодеятелей и оставил в наследство своей приёмной дочери, Людмиле Енисеевой-Варшавской, огромную библиотеку. После отсидки (в лагерях ГУЛАГа, самый страшный – «Озерлаг» в Тайшете), Домбровский возвращался в Алма-Ату, откуда и начался его скорбный путь по пересылкам и лагерям. Первый раз он загремел в 22 года, окончив Высшие литературные курсы в Москве при институте, организованном поэтом В. Я. Брюсовым, и театроведческий факультет ГИТИСа, загремел по молодой беспечности и озорству:

*«В 1932 г. группа моих товарищей в пьяном виде сдёрнула два или три домовых флага и бросила у меня. Они валялись на виду, и значения я им не придавал. В результате я получил три года лишения свободы за участие «в политическом хулиганстве», которое было выражено «в дононительстве и укрывательстве». Вскоре приговор этот был заменён тремя годами административной высылки».*

Но и раньше он отличался крамоллой. Поэт и переводчик Семён Липкин вспоминал спустя годы: когда молодой Юрий читал свои стихи в литкружке при газете «Московская правда», то «стихи были довольно смелыми по тем временам, почти антисоветскими». И после он писал так же. Рукопись его романа «Факультет не-

нужных вещей» была арестована вместе с ним. Потом она выйдет книгой более чем в тридцати странах. По мнению зарубежных критиков, книга эта «подорвала основы Кремля».

В Алма-Ате написаны его главные книги, здесь появились первые его публикации в альманахе «Литературный Казахстан» (ныне журнал «Простор»). Вот как о том времени вспоминала Людмила:

*«...Алма-Ата тогда утопала в садах. Небоскрёбов не было, а всё большие саманные домишки, окружённые яблонями, вишнями, урюком. Ослики цокали по гулким мостовым. Было в Алма-Ате много разного народа, в том числе из сосланных сюда. Троцкий жил одно время. Кто-то освобождался, кого-то сажали снова. Вот такой контингент и собрался в подвале гостиницы, что располагалась на улице Панфилова: несколько писательских и артистических семей. Мой отчим, Лев Игнатьевич Варшавский, тоже был из бывших зэков, а прежде – секретарь Радека, из-за чего и погорел. Рядом с нашей семьёй жил Юрий Домбровский, и я помню, как шумный дядя Юра, размахивая длинными руками, врывался к нам и кричал моему отчиму:*

*– Лёвушка, пусть мы будем об этом лучше жалеть!*

*Оказывается, он только что отделался от очередной поклонницы, которая обманным путём миновала гостиничного вахтёра, пробралась к Домбровскому и требовала брачных отношений. Он кое-как её выставил, и теперь, счастливый, приговаривал:*

*– Пусть мы будем об этом лучше жалеть!*

(Кричал он так и после ночных бесед, где все горячились, где был фейерверк мыслей, экскурсов в историю и литературу, смелых философских споров, и т. д., а под дверью подслушивал сосед, который потом строчил доносы. Домбровский об этом знал и иногда приглашал соседа выпить вместе с честной компанией, добродушно посмеиваясь: мол, всё равно нынче писать не о чем, никакой крамолы не было, так хоть выпей, что ли, – Н. Ч.)

*Жил с нами по соседству и поэт Алексей Брагин. Так вот Брагин объявил публично, что Лев Варшавский и Юрий Домбровский – космополиты. Тогда как раз шла борьба с «безродными космополитами». Моя мать, Люба, говорит Брагину:*

*– Лёшка, ну вот что ты привязался к Лёвушке? Что он тебе сделал? Оставь его в покое и Юрку тоже!*

*– Ни за что! – ответил Брагин. – Ты мне нравишься, а этот старикашка живёт с тобой!*

*Домбровского он всё же засадил, а моего отчима спасло то, что на него была резолюция из Центра: не трогать до особого распоряжения. При его-то язве желудка он бы ещё раз лагеря не перенёс...»*

Должна добавить: при перестройке, когда открылись архивы, всплыли бумаги с его доносами. Вдова поэта обратилась к Людмиле Енисеевой-Варшавской, как к известной журналистке, с просьбой помочь прекратить разоблачения её мужа. Людмила отказалась.

Я была на похоронах Брагина. Ему не успели подвязать челюсть, и она застыла. Так и лежал с разверстым ртом, будто кричал от ужаса. Что привиделось ему на том свете, какие муки ада? Но дочь его, Веру Брагину, я вспоминаю с благодарностью: она помогала выжить в Алма-Ате деду моего мужа, Николаю

Николаевичу Кноррингу – носила еду, лекарства, когда он болел, занимала его беседами, когда к старику подступала тоска одиночества: он оставил во Франции могилы жены и единственной дочери, талантливой поэтессы Ирины Кнорринг. Вера Брагина и сама писала – рассказы, и я печатала их в «Просторе». Так что не всё однозначно в нашей причудливой жизни. Может, конечно, Вера тоже «приглядывала» за бывшим эмигрантом, по поручению известной конторы, но не хочется об этом думать и уж тем более наговаривать на человека. Других соглядатаев я знаю: они тоже чуть ли не каждый вечер приходили к старику Кноррингу, играли с ним в шахматы, пили водку, вызывали на откровенные беседы и потом писали отчёты своим кураторам в КГБ. Николай Николаевич оставил записи в своём дневнике об этих шахматных вечерах, не высказав ни слова упрёка сексотам, и даже сочувствовал им, когда они кончали самоубийством. Так же своих доносчиков и провокаторов жалел и Юрий Домбровский, ибо это были слабые духом люди, смешные, жалкие, чаще всего горько пьющие, потому что не могли выскочить из паутины, в которую попали по неосторожности, зависти к другим, ради собственного спасения или из страха. Ведь и Пушкин признавался, что испытывал «подлость во всех жилках», рассказывая о встрече с царём. Но Пушкин преодолел эту «подлость», и Домбровский преодолел, и потому не хотел верить в окончательное падение человека, в абсолютное зло. Он философ и поэт. Он видит мир в образах и символах, в исторической ретроспекции – он может сравнивать. Он психолог. Он может объяснить поступки людей, попавших в переплёт. Думая о судьбе Иуды, Домбровский устами отца Андрея из «Факультета ненужных вещей» говорит: «Три четверти предателей – это неудавшиеся мученики». И наблюдая за погибающим лесом, задушенным повиликой, он думает о предателях и палачах, что они тоже погибнут, как и эта повилика, когда убьёт лес до конца: палач и жертва связаны одной нитью. И он жалеет своих мучителей, ведь у них нет спасения, а у него есть – Поэзия. Он пишет удивительные строки стихотворения «Козлов» («Поэты пушкинской поры»): *«Красота добра и зла, / Всё, что нам на мокрый гравий / С неба Муза принесла...»* Он и добро, и зло преображал в красоту поэзии; он верил, он ждал: *«что зажжётся искусством»* его *«нестерпимая боль»*; он с удивлением и восторгом наблюдал превращение этой боли в животворящую музыку стихов: *«Вот так под глубинным давлением / Отмерших минут и годов / Я делаюсь стихотвореньем – / Летучей пульсацией строф»*. И всё это – продиктовано Любовью, которая помогала выжить, не озлобиться, не стать подлецом; любовью к людям, слабым и сильным, к миру, к жизни – мгновенной перед Вечностью, но прекрасной, осмысленной, если ты понял своё предназначение, если ты любил: *«Когда искусство превратилось в кровь, / Тогда собьёшься и не скажешь сразу, / Где жест актёра перешёл в любовь, / А где любовь переродилась в фразу!»*

Тамара Мадзигон так сказала о Домбровском в цикле стихов «Движение к облакам» – она дружила и в школе, и в университете с женой Домбровского Кларой Турумовой, и, конечно же, с самим Домбровским дружила, который писал о Шекспире, о «Гамлете» – это обыгрывается в строфах Тамары:

*«Я знаю, что ничего не просил, / Имел только то, что даётся от Бога – / Упрямую мысль и спокойствие слога, / Особый запас человеческих сил. / Причудливый дядя! Загадочно смел, / Пытливый азарт до людей и событий; / Пока твой герой добивался: «А быть ли?» – / Ты смерти отведаль и правду воспел...»*

Но несмотря на то, что он «смерти отведал» (поэтическая книга Домбровского о лагерной жизни называлась «Меня убить хотели, эти суки!»), он не терял юмора и сам про себя рассказывал такую байку: стали ему после лагерей выписывать паспорт, спросили, кто он по национальности. Ответил: «Иудей!», а паспортистка по-своему поняла и написала: «Индей». Юмор сквозит и в некоторых его «лагерных» стихах: *«Выхожу один я из барака, / Светит месяц, жёлтый, как собака...»*. В письме к С. Зимину он пишет о себе:

*«Получилась длинная, тяжёлая, и не совсем складная жизнь, но знаете – я ей доволен. Она вся целиком принадлежит мне. И в плохом, и в хорошем. Бог знает, как бы всё сложилось, если бы я, профессорский сынок – продолжал жить по-старому, в тех же условиях, в тех же возможностях и невозможностях. Но так как это не вышло, я получил жизнь ни на что не похожую, такую, как она есть, – и знаете, я не в обиде...»*

Бог каждому человеку даёт испытания по силам его. И те испытания, что выпали Юрию Домбровскому, который никогда не совершал никаких преступлений кроме свободомыслия, сделали его большим писателем, укрепив в нём Поэта, научив любви. Он повторял слова из Евангелия от Матфея: *«Претерпевший же до конца спасётся»*. Он вытерпел испытания, и было ему послано спасение в творчестве. Он сочинял стихи и свои романы на пересылках, в лагерях, в холодном карцере, в больнице, куда его укладывала эпилепсия. В стихотворении «Мария Рильке», рассказывая о своём приятеле по неволе, немецком профессоре из Берлина – «водовоз, бездарный дровосек, странноватый, слеповатый, длинный, очень мне понятный человек» – Домбровский вспоминает, как тот читал стихи Марии Рильке под морозным небом Севера, *«поднимая палец свой зелёный, заскорузлый, в горе и нужде...»* Сам Домбровский при отсидаках делал подстрочники сонетов Шекспира, изучал латынь, читал Тацита, в трудах которого находил *«высиую корректность истины, и то вечное, что никогда не дряхлеет»*. Тацит показал, что XVII век независимо, как равный к равному, обращался к XVIII, к XIX, XX и даже к XXI и XXII векам. «Такие книги для него были как бы сама вечность». Он читал Тацита, как и его герой Зыбин из «Факультета ненужных вещей», книгу старинную, изданную в 1672 году в Амстердаме. Книгу эту Зыбину дал его сокамерник Константин Каландарашвили – фигура не вымышленная, а существовавшая на самом деле: его звали Бибинейшвили, и рассказал Домбровскому о нём грузинский писатель Чабуа Амирэджиби. Из Тацита есть у Домбровского выписка – видно, она совпала с мыслями узника Домбровского, падавшего от истощения и болезней, и с реалиями его времени, столь далёкими от века Тацита, но такими похожими. Интересно, что прочтут про себя у Тацита люди XXII века? А Домбровский про свой век прочитал вот это:

*«Теперь, наконец, мы оживаем, однако по природе человеческой лекарства действуют медленнее, чем болезни, и как тела наши растут медленно, а разрушаются быстро, так и таланты легче задушить, чем породить или даже оживить, ибо и бездействие тоже имеет свою сладость, и праздность, ненавистная сначала, тоже становится приятною. Что же сказать, если в продолжение пятнадцати лет – великая часть жизни человеческой! – столько народу погибло по разным обстоятельствам, а даровитейшие по жестокости Вождя! – мы, немногие уцелевшие, пережили не только себя, но и других: ведь из нашей жизни исторгнуто столько лет, в течение которых молодые молча дошли до старости, а старики почти до самых границ человеческого возраста...»*

Эту цитату Домбровский взял эпитафией к роману «Хранитель древностей». Он любил эпитафии. Нравится мне и другой его эпитафия, уже к «Факультету ненужных вещей» – из Р. Брэдбери. Мысль эта подходит и к моим мемуарам: *«Когда спросят нас, что мы делаем, мы ответим: мы вспоминаем. Да, мы память человечества, поэтому мы, в конце концов, непременно победим; когда-нибудь мы вспомним так, что выроет самую глубокую могилу в мире...»* И роман Ю. Домбровского стал такой «могилой» сталинскому режиму. А поскольку Юрий Осипович был человеком с тонким юмором, то рядом с Брэдбери поставил цитату из К. Маркса – тогда Маркс, Энгельс, Ленин были священными именами, и писатель устами вождя разоблачил их собственную идеологию: *«Новая эра отличается от старой эры главным образом тем, что плоть воображает, будто она гениальна».*

Под этой «плетью», воображившей себя гениальной и по этой причине считавшей, что ей всё дозволено, Домбровский продолжал писать. Несмотря ни на что, он писал, писал, писал! Его сажали – он писал. За ним приходил Загиб Иванович – так ээки называли смерть, по имени-отчеству, как нарядчика зоны, и видели не бабой с косою, а мужиком, привязывающим бирку к ноге усопшего и волокущего его к общей яме. Домбровский – выжил и писал! Его книги запрещали – он писал! Уже на воле ему сломали сначала одну, потом другую ключицу – крылья перебили, чтобы не летал высоко, но он летал – он писал. Он всегда писал!

О женщине писал только возвышенно, даже о куртизанке Мэри из новеллы «Смуглая леди». Он любил женщин, и они за ним не зря охотились. На одном застолье, куда я попала, уже состарившиеся его «девушки» вспоминали, какой это был могучий мужчина, – и с жаром описывали каждую часть его любово-обильного тела. И не знали они, упиваясь своим женским тщеславием, какой это был целомудренный, на самом деле, человек, как его мучило «животное тепло совокуплений», как он жаждал «свечения распахнутых надкрылий», «лебяжьей стати» чистой любви, которая – таинство, которая – «между строк»:

*«Ведь мы могли с тобой туда взлетать, / Куда и звёзды даже не светили! / Но подошла двуспальная кровать – / И задохнулись мы в одной могиле. / Где свежесть, где тончайший холодок / Покорных рук, совсем ещё несмелых? / И тишина вся в паузах, пробелах, / Где о любви поведано меж строк?..»*

Наконец, после бурных романов, Домбровский уgomонился: он влюбился в молоденькую студентку филфака университета, красавицу Клару Турумову – луноликую, с длинными косами. В ней он нашёл и «лебяжью статью», и «свечение распахнутых надкрылий». Клара была подружкой Люды Варшавской. Он встречал её в их доме, когда и Клара, и Люда, и другая их подружка, Тамара Мадзигон, затаив дыхание, слушали умнейшие и смелые разговоры взрослых, где лидировал «дядя Юра» – так они звали Домбровского, самого причудливого из гостей. Девчонок не прогоняли. Люда вспоминала, что Клара была романтической девушкой «тургеневского склада», вела дневник и там писала о своей мечте встретить рыцаря, похожего на Дон Кихота. Кстати, лагерный товарищ, француз Арман Малумян звал Домбровского «Донкихотский» – он и своим видом (длинный и худой), и благородством походил на испанского идадьго. В письме к спасшему ему жизнь Л. В. Варпаховскому Домбровский писал: *«Помните, на титульном листе первого издания «Дон Кихота» был нарисован сокол со скинутым колпачком и написано по-латыни: «После мрака надеюсь на свет». Ведь мы тоже, как Дон*

*Кихоты...*» Тут важен контекст, а он такой: в 1940 году, при погрузке на пароход, переправлявший заключённых на Колыму, у Домбровского случился припадок эпилепсии, и охрана могла его пристрелить, а Варпаховский, взвалив длинного Юрия Осиповича на себя, втащил в трюм, и так спас.

Домбровский мог произвести впечатление на мечтательную девушку Клару. Редактор его рукописей в «Новом мире» Анна Берзер подробно описывает его облик, вспоминая о своей первой встрече с ним в московской редакции:

*«...У него были мужественные красивые руки. Я почти не встречала таких надёжных, и даже по-своему спокойных рук (...) Подняв голову, увидела, что он высок и какое у него лицо... Он не был ни на кого похож, не укладывался ни в какой определённый тип (...) Высокий лоб, копна взлохмаченных чёрных волос, живые, умные и временами весёлые, обращённые прямо к тебе, глаза. В фигуре, в плечах, в походке проступала часто разбитость, печать пройденного пути, страдание было и в лице. Но страдание сливалось с вдохновением... Он не укладывался в рамки семьи, частной собственности и государства...»*

В молодости он свою добропорядочную семью – мать профессор биологии, отец известный юрист – иногда мечтал променять на цыганский табор, и серьёзно разрабатывал эту версию. Пушкин тоже, пребывая в изгнании в Молдавии, стеснённый в своей свободе, думал о цыганском таборе, ходил по базару в цыганской красной рубаше и шляпе, написал поэму «Цыганы». Но он был гениальный поэт и в финале поэмы дал правдивый ответ на молодые бунтарские порывы Домбровского:

*«Но счастья нет и между вами, / Природы бедные сыны!.. / И под издранными шатрами / Живут мучительные сны. / И ваши сени кочевые / В пустынях не спасли от бед, / И всюду страсти роковые, / И от судеб защиты нет...»*

Людмила Енисеева-Варшавская глядит на юные чувства Клары к Юрию Домбровскому уже взрослыми глазами, уже как бы со стороны, уже из другого века:

*«...Конечно же, он был в её воображении необыкновенным – возвышенным, бесстрашным, несгибаемым и бескомпромиссным. Конечно, как истинный рыцарь, он отстаивал правду, ту самую, что ни на есть высшую истину. Весь пыл и жар её юного сердца был брошен на ожидание этого героя. Она, как гриновская Ассоль, верила, что он придёт, придёт обязательно. И он, действительно, пришёл. То была легенда нашего дома – Домбровский...»*

Когда всё совпало, Клара написала в дневнике большими буквами: «ЭТО ОН, ОН, И НИКТО ДРУГОЙ!» Потом Юрий Осипович уехал в Москву – ему разрешили вернуться. Семь лет переписки с Klarой. «Боже! Какие письма писал он Кларе! – вспоминает Люда, – При всей трепетности их и нежности они несли в себе энциклопедию...» Часто Юрий Осипович приезжал в Алма-Ату: он здесь издавался, переводил казахских писателей, и ещё, конечно, ради Клары. Люда вспоминает финальный эпизод перед тем, как Домбровский и Клара соединились навеки. Она случайно стала свидетелем такой сцены: Юрий Осипович стоял на коленях перед отцом Люды и дёргал его за штанину, при этом происходил следующий диалог:

« – Лёвушка, Лёвушка, друг мой милый! Отдайте мне Клару, или я не знаю, что я с собою сделаю! Лёвушка, я серьёзно, я действительно не знаю...

– Но Юрочка, – урезонивал отец, – как же вы можете жениться на девочке? Вы, старый юбочник и вертопрах!

– Лёвушка, друг мой бесценный!

– Но что, вам мало ваших воздыхательниц, которые сами прыгают к вам в окно? Забавляйтесь с ними!

– Но Клара...

– Вы поломаете ей жизнь!

– Она без вашего согласия и говорить не хочет ни о чём.

– Умная девочка, правильно делает.

– Но я готов поклясться!

– Ну да, на вас понадейся...»

Отец Клары, Фазула Турумов, погиб в первый же день войны в Брестской крепости, и Лев Варшавский стал Кларе отцом и взял на себя ответственность за неё в таком судьбоносном решении, как замужество. Юрий Домбровский был старше Клары почти на 30 лет, но она стала ему женой, другом, детёнышем. Своих детей у них не было. У Домбровского имелся сын Виталий, который родился в 1936 году, но с ним, судя по всему, связи не было, возможно, из-за прошлого – зэковского – Юрия Осиповича, когда опасно было общаться и уж тем более родниться с «врагом народа». Известно только, что после смерти писателя кто-то из потомков участвовал в разделе имущества, получив дачу, и получает отчисления от переизданий книг Домбровского.

Но вернёмся к любви. Закончив аспирантуру в Москве, Клара решила не защищать диссертацию, а полностью посвятила себя мужу и его литературным делам. Л. Енисеева-Варшавская пишет:

*«Клару я бы отнесла к особому виду человеческого существа, которое называется Жена писателя. Да, да, именно к нему она относится. Бог создал её для того, чтобы она стала не только бесконечно преданным и любящим созданием, но и надёжнейшей опорой для Юрия Осиповича Домбровского – человека сколь необычного, гениального, столь и нелепого...»*

Господь дал Кларе долгий век, чтобы она издала (и продолжает переиздавать) все книги своего несравненного мужа: «Обезьяна приходит за своим черепом», книгу из трёх новелл о Шекспире, «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей» (кстати, название своего романа Домбровский взял у художника Сергея Калмыкова – так назывался один из его рассказов), и другие.

Не знаю, писал ли Домбровский о Кларе, но я увидела её в героине его «Хранителя древностей» и «Факультете ненужных вещей», хотя Клара, конечно же, не могла с ним работать в музее в 1936 году – она ещё не родилась, но так похожа описанная в романе девушка, которую тоже звали Клара – Клара Фазулаевна – на нашу Клару Турумову, такой нежностью пронизаны строки о ней:

*«Третьей в машине сидела высокая, очень красивая, похожая на индуску девушка с чистым, продолговатым, матовым лицом и чёрными блестящими волосами. Клара Фазулаевна, зав. отделом хранения. Она смотрела вверх машины и думала что-то совсем своё...»*

*«Была она тонкая, гладко причёсанная, высокая (...) Посередине шоссе стояла Клара и готовилась голосовать. Была она белая, ажурная, с розовым зонтиком в руках – такие девушки на большой дороге не стоят более пары минут. Увидев остановившуюся вдруг машину, а потом и нас, она запрыгала, завертела зонтиком (извечная студенческая манера останавливать машины) и радостно закричала:*

– Вот как кстати! Вот как кстати! А я уж второй раз как к вам. Здравствуйте, хранитель! (...) Я стоял против Клары и не знал, что сказать, молча смотрел на неё. А она вдруг улыбнулась, дотронулась до моей руки и очень невуче, медленно произнесла:

– А что, если я влюбилась в вас, хранитель? – хохотнула и убежала.

“Да, – подумал я, – не надо, не надо было мне приезжать сюда с раскопок, ведь чувствую, что этот день так не кончится, что-то обязательно произойдёт...”»

А происходила не только любовь, но и опасные для хранителя и для многих музейщиков расследования КГБ. На музейной экспозиции не успевали вывешивать и через день снимать известных в стране людей: героев труда, выдающихся деятелей науки, партийных работников и т. д., которые объявлялись врагами народа, шпионами иностранных разведок, отравителями и вредителями. Это возмущало хранителя, он протестовал, и над ним сгущались чёрные тучи. Директор музея удивлялся, глядя на хранителя: «Но вот откуда такие берутся, вот такие, как он, тихие, настырные и дурные? Время, что ли, такое? Ведь знает всё и вот лезет, лезет в яму!» Клара пыталась оттащить его от этой ямы, она была для него добрым ангелом, смирявшим строптивый, неуживчивый нрав любимого человека, и как могла, отводила от него серьёзные беды. Но неутомимые чекисты, как собаки-ищейки, уже взяли его след.

Такой подругой, верным человеком, охранителем была и Клара Турумова для Юрия Домбровского – романтика, влюблённого поэта, безбытового, весёлого, неосторожного в поступках человека, всю жизнь ходившего по краю смертельной пропасти. Незадолго до своего ухода он был жестоко избит неизвестными молодыми людьми. За что? Почему? – Неизвестно. Может, случайная драка, а может, он ответил подлецам? Может, и вовсе это было эхо сталинских времён, которое догнало его? Эхо «Факультета ненужных вещей», когда ненужными были право и свобода, вместо них действовала «социалистическая целесообразность»? Его убивали, убивали, и, наконец, убили? Бандитов не нашли. На все расспросы Клары он молчал, а потом умер (29 мая 1978 года). Когда, после похорон, она разбирала его бумаги, нашла подстрочный перевод 74-го сонета Шекспира, похожий на посмертное обращение Домбровского к любимой, чтобы утешить её: «Я – с тобой!»

«Когда жестокий приговор удалит меня, не допуская никого взять меня на поруки, – моя жизнь будет находиться в этих стихах. Ты в них снова и снова увидишь то главное, что было посвящено тебе. Земля может забрать себе лишь мой прах, принадлежащий ей. Но дух мой – он у тебя. А это моя лучшая часть. Потому ты утратишь лишь добычу червей, мой труп, жертву подлого ножа труса, слишком жалкую, чтобы её ещё вспоминать. Единственным драгоценным было то, что содержалось во мне. И вот оно – с тобой...»

## Диоген

У меня под окнами сад: старые липы, заросли бирючины и шиповника, грушевое дерево с крошечными плодами и такая же слива, кривая урючина – с неё срывается и разбивается кляксами урюк. Его косточки уйдут в землю, и через несколько вёсен поднимется урюковый лес. Посреди клеверной поляны – высоченный грецкий орех. Летом там живёт белка. На поляну иногда приходит наш



дворник Нурик с электрокосой и зверски расправляется с травой, отравляя воздух выхлопами бензина. В свой палисад я его не пускаю, и мой луговой народ остаётся жив, и в тазике с водой купаются скворцы, и стрекозы зависают в воздухе над медовыми цветами. Я не люблю садовые цветы – они искусственные, рукотворные. Я люблю дикоросы. Они настоящие, такие, как их создал Господь.

Нурик обитает у нас в подвале: сделал себе душ, туалет, ковёр на стенку повесил, телевизор поставил. Он гастербайтер из Каракалпакии. Берётся за любую работу, чтобы прихватить ещё хоть какую-то копейку к маленькой дворницкой зарплате. Но на родине и эти гроши – большие деньги. Раз в полгода Нурик едет в Нукус, отвозит семье сбережения. Этого хватит на следующие полгода, а то и больше. Из-за этого в Нукусе Нурик уважаемый человек! И на нашей клеверной поляне он чувствует себя большим начальником: разгоняет кошек и собак, шугает ворон, кричит на божей и грозит им полицией. В остальное время смиренно подметает дворы, обмотав голову пёстрой тканью в виде чалмы. Теперь на клеверной поляне тишина. Трава ещё не подросла, и Нурик её не трогает.

Ослепительный июльский полдень. Кошка бежит, поджимая то одну, то другую лапу – песок раскалился добела. Кое-как доскакала до клеверного островка. Передохнула, вынюхивая травку – искала целебную. Погрызла пырей и побежала дальше. Из бочки вылез Диоген. Бочка железная – это большая ёмкость для воды, но пустая, потому что дырявая. Когда возле нас достроят метро и французскую клинику, бочку уберут – она портит вид, а пока никто не хочет гонять подъёмный кран, чтобы поднять тяжёлую железяку и погрузить на машину. Акимат экономит деньги. От африканского зноя бочка так разогрелась, что стала похожа на адский котёл. Вот и не стерпел Диоген, вылез. (У настоящего Диогена бочка была глиняная, и ему в ней было легче переносить жару.) Величественный, с большой белой бородой и густыми бровями, с нательным крестом на голой груди, Диоген неспешно прошествовал к ореху и медленно опустился в пожухлый клевер. Под орехом с утра сидел другой нищий по имени Була. Красивый парень, но с разорванной щекой: его изувечили в драке осколком бутылки – «розочкой». Шрам зарос коричневыми буграми. Когда-то Була жил в ауле, звали его Булат, с отцом пас он овец, но потом ему стало скучно, подался он в Город, только Город его не принял, вот и стал Булат бродягой. Була перекусывал чем-то, то и дело запуская руку в клетчатую китайскую сумку.

Диоген, презрительно морщась, спросил:

– На какой помойке берёшь? Поди, у кафе?

Була кивнул.

– Не бери там! Они плохо готовят, особенно бризоль.

После чего Диоген пожевал лиловую головку клевера, отпил из бутылки вина – бутылка у них с Булой общая, и растянулся под орехом, и стал говорить в небо длинные строки:

*«Пой, о богиня, про гнев Ахиллеса, Пелеева сына, / Гибельный гнев, причинивший ахейцам страданья без счёта...»*

Говорят, раньше Диоген был преподавателем философии в университете и звали его Диомид Петрович. Теперь вот чудит, в бочке живёт, хотя есть у него и жена, и дети. Приходят к бочке, зовут домой, а он ни в какую! Плачут: «Не позорь нас!» Он прогоняет их палкой: «Свобода дороже ваших уз и ваших стен!» – кричит. И снова лезет в бочку, снова позорит семью. Где пережидает зиму, не знаю.

а летом – они с Булой живут в бочке. Була ещё молодой, к девушкам тянется. Есть у него подружка, Алма. «Моё Яблочко!» – так нежно зовёт её Була. Она тоже из аула, но сумела за Город зацепиться: Алма-Ата ведь «Отец Яблок» – так по-русски звучит, и потому Город по-отцовски отнёсся к Алме – дал ей приют и работу. Яблочко трудится в кафе, откуда и приносит Була еду. Иногда перепадает от Яблочка и выпивка. Алма официантка, собирает из фужеров недопитые вина, сливает в пластиковую бутылку и выносит Буле с чёрного хода. Коктейль этот Була с Диогеном называют «Сливки».

После долгой жары небо темнеет, собирается дождь. Наконец-то! И вот он падает стеной – сразу, без предисловий. Диоген с Булой залезают в бочку, накрывают её крышкой, и, прижавшись друг к другу, слушают ливень.

О чём они там говорят – мне не слышно, но, может, Диоген, обнимая Булу и отхлёбывая из бутылки «Сливок», заводит древнюю притчу об обществе христианских иноков в верхнем Египте, которые жили под началом аввы Апполоса – я видела у Диогена книгу «Самые великие притчи мира». У меня тоже такая есть.

«Слушай, брат мой, Була! Братство иноков было не простое. Многие достигли христианского совершенства и могли совершать разные знамения. Чудное представлялось зрелище в этом братстве! Находясь в дикой пустыне, они пребывали в таком веселье, какое невозможно увидеть между прочими жителями земли. Его нельзя сравнить ни с каким земным весельем. Никто из них не был печален. Авва Аполлос, когда замечал кого-либо смущённым, немедленно спрашивал его о причине смущения и каждому обличал его сердечные тайны. Он говорил: “Не должно быть печальным тому, кто предназначен к получению небесного царства. Да будут смущёнными эллины! Да плачут иудеи! Да рыдают грешники! А праведники да веселятся! Как же не веселиться непрестанно тем, кто удостоился надежды на получение небесных благ? Апостол повелевает нам: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, обо всём благодарите!» Так возблагодарим же небо, брат мой Була, за наше с тобой веселье!”», – и они отхлебнули «Сливок».

Я тоже веселюсь, вслед за ними, и потому сочиняю мои «весёлые мемуары»!

### Пора злословить!

«Ещё пристало им любить, а нам уже пора злословить...», – писал Пушкин, и сам блестяще «злословил» в своих эпиграммах, за что нередко нарывался на скандалы и даже дуэли. Вот и наши поэты: никого не щадит их острый язык, оттого закипает вражда – после бурной любви. И раньше так было, и теперь. Не успел Олжас Омарович Сулейменов перейти из руководителей казахского кино в руководители Союза писателей, как уже готова эпиграмма от Валерия Антонова – он был отменным острословом. Его экспромты вспоминала Инна Потахина в своих мемуарах, напечатанных в разных изданиях. Она и сама была остра на язык и блистала в кафе СП «Каламгер», но эта эпиграмма – от Валерия Антонова:

*«Кино подтянули до уровня века – / На очередь встала и наша семья, / Где рубят в искусстве лишь два человека, / Сказать по секрету: Омарыч да я!»*

Особенно пародисты любили Геннадия Круглякова. Потахина приводит одну пародию на его стихи «Тахтобродцы», где рефреном шло слово «даром», которым лихо «играл» пародист:

*«Даром меня одарила природа: / Даром писать о парнях Тахтоброда. / Даром о новом писать и о старом: / Всё, что я делаю – делаю даром...»*

И мало кто знает, какое на самом деле горькое стихотворение написал Кругляков. Он с выступлениями попал в маленькое степное сельцо Тахтоброд, под Кокчетавом, и потрясён был, сколько парней из этого крохотного села погибло на войне – на обелиске было выбито 111 фамилий! Тут же написал стихи, прочитал их в сельском клубе Тахтоброда, и люди плакали, слушая бесхитростные но такие пронзительные строки:

*«Где вы, солдаты из Тахтоброда, / Те, что рожденья 20-го года, / Те, кто моложе – с 22-го, / Те, что лежат у Москвы или Пскова? / Или в местечках иных, без названий, / Где-то под Курском, под Обоянью. / Может, у леса, может, у пашни, / Может, упавшие в рукопашных. / Где вы, ребята из Тахтоброда, / Смелые люди крепкой породы – / И молодые, и пожилые, / Где на шинелях вас уложили? / Салютовали гвардейские взводы / Павшим солдатам из Тахтоброда. / Кто на могилы цветы вам приносит, / Поле какое вокруг плодоносит? / Может, молдавское, может быть – польское, / Может быть, светлое, чистопольское. / Вы породнили края и народы, / Парни далёких степей Тахтоброда...»*

Пародия на это стихотворение, несомненно, кощунственна, но что до того каламгеровским пересмешникам? Ради красного словца не пожалеют и родного отца! И другая пародия на Круглякова. У этой пародии есть несколько вариантов, я помню такой:

*«Пусть моя бессвязна речь, / Но помню ближних я и дальних. / Моя поэма стоит свеч, / Жаль только – геморроидальных...»*

## Магнитка на Парнасе

Часто в Алма-Ату из Темиртау приезжал Виктор Фетько – поэт из рабочих, он строил Казахстанскую Магнитку. Вообще, в Темиртау выросло немало отличных поэтов, которые прошли литературную школу у поэта-фронтовика Григория Фемистокловича Григориади. Он из ссыльных в нашу Степь понтийских греков. На фронте потерял ногу, но очень активно жил, был женат на русской красавице с фигурой античной богини, она родила ему дочь и сына и дала им имена эллинов. Елена и Ахилл. Григориади писал книги, пестовал пишущую молодёжь. Почти у всех потом вышли книги. Люба Шашкова – среди первых! Она стала известным писателем и журналистом, а ещё Люба Усова, Владимир Манин, Виктор Фетько – наиболее талантливые воспитанники Григориади.

А потом наступили трудные времена. Дмитрий Оськин написал книгу «Не блокадный дневник» – о том, как в начале 90-х, с развалом СССР, замерзал без отопления город металлургов Темиртау, не было еды, работы, жизни. Люди умирали, и город умирал. Оськин сравнивал свой город с блокадным Ленинградом. Виктор Фетько тоже пережил эти страшные зимы. Спасало творчество – закутавшись в тулуп, грызя мёрзлый сухарь, он писал стихи. Очень гордился тем, что стал членом Союза писателей. То и дело показывал красную книжку с золотым тиснением: «Союз писателей СССР» – в буфетах, у вокзальных касс, в кинотеатрах, требуя обслужить без очереди. Его «нескромность» можно объяснить: парнишка-детдомовец, простой работяга, он добился невиданных высот – был допущен на Парнас, где обитали и классики. В Алма-Ате Фетько любили

и опекали, но и вышучивали тоже: неприкосновенных не было! Например, вот эти его строки: *«Я не дальтоник... / Вот так же я уже немало лет / Ищу себя, а нахожу другого...»*

Пародия такая:

*«Я не дальтоник, я совсем другой, / И я всегда любил себя такого. / Но вот случилось странное со мной: / Ищу себя, а нахожу другого. / Взгляну в трюмо – Шекспира встречу взгляд, / Виски щекочет байроновский локон, / А сборник свой открою наугад – / И сразу же наткнусь на строчки Блока. / И в паспорте моём портрет не мой – / Кудрявый Пушкин там. Боюсь чертовски: / Приду домой однажды, а с женой / Живу не я, а мрачный Маяковский...»*

### «Подарки» от Хрущёва

Вспоминала Инна Потахина (в журнале «Огонёк – Казахстан») и о приколах журналистов и поэтов молодой ещё в начале 60-х газеты «Ленинская Смена»:

*«...Был у нас тогда ставший позже известным на весь Союз Гена Бочаров, который работал одновременно и на «Комсомольскую правду». Он беспрестанно хвастал своим знакомством с Хрущёвым. Как только ни прикалывались над ним ребята: писали эпиграммы, частушки, сочиняли коллажи типа: “Никита с Гекем и балалайкой”. Бывая в командировках, присылали из всех городов от “Никиты Сергеевича” подарки, и Гек всё бегал на почту получать их. Однажды приходит ему огромный свёрток – бумага, бумага, а потом, извините, бюстгальтер и трусики. И записка: “Гек, помнишь, как мы с тобой в Баку, в гостинице?! Твой Никита”».*

Самой большой достопримечательностью «конторы» был огромный, во всю стену секретариата, лист ватмана, где каждый мог оставить автограф в виде сочинённого опуса. Опусов был целый вернисаж. Испробовали все возможные жанры, а потом перешли к пародии в форме... эпитафии. Саше Фридману, замечательному, но несколько заносчивому журналисту, сочинили, например, такое:

*«Бородой упершись в крышку гроба, / Судорожно стиснув кулачки, / Здесь лежат четыре пуда сноба, / Свитер, авторучка и очки».*

### «Пёрлы»

Я ещё застала эти листы ватмана – во всю редакционную стену, о которых пишет Потахина. Видела их, когда приходила в «Ленсмену», а потом и в «Вечёрку», куда традиция настенной печати перекочевала вместе с журналистами молодёжной газеты. Помню анекдотичные заголовки, которые попали в печать. Теперь намеренно браврируют подобными заголовками, а в советские времена это считалось преступным ляпом. Например, писалось о трудовых подвигах металлургов, взявших повышенные соцобязательства к майским праздникам, и вот заголовок: *«Майские плавки сталеваров»*. Другой материал – приглашение на органнй концерт: в Алма-Ату привезли органнй инструмент. Заголовок – *«Самый большой орган в Алма-Ате»*. Ударение в «органе» все, конечно, ставили на первом слогe. Или это: *«Несмотря на частые посещения партгором коров, они давали мало молока»*, и там же: *«Бык-производитель Ллойд охотно делился своим семенем с лаборанткой Люсей»*. А ещё стихи одного из авторов «Ленсмены». Все

не помню, только содержание и несколько финальных строк, где бабушка учит внуков милосердию: «*“Если встретите сирот – приголубьте у ворот!” / Внуки выстроились в ряд: “Приголубим!” – говорят*». И, наконец, знаменитые строки московского поэта, наезжавшего в Алма-Ату – загадка для детей (он говорил о рубанке): «*Деревянная кобылка / Жрёт пупком, / Плюёт затылком*». Таких «пёрлов» было полно!

### Почётный гражданин Кыштовки

Приезжал в Алма-Ату из Целинограда – тогда это была провинция, а потом город стал столицей – и поэт-первоцелинник Владимир Гундарев, автор песни «Деревенька моя деревянная», которая прославила его на весь СССР, и её поют до сих пор народные коллективы. Славен Володя и тем, что создал журнал «Нива», где публиковал писателей Северного Казахстана. Гундарев стал любимым героем пародий Валерия Михайлова. Обыграл Михайлов и его строку «*Я русский сын казахского народа*», и стихотворение «Еврейский Шолом», посвящённое герою целины Гольдбергу:

*«Наставником, учителем лелеем, / Я с Гольдбергом слонялся по аллеям, – / И стал немножко – таки-да! – евреем. / Мы оба целину с ним поднимали – / И – таки-да! – немножечко подняли. / Потом по турпутьёвке еду в Краков – / И – Матка Боска! – стал чуть-чуть из ляхов: / Завижу пани или же паненку, / И волочусь за ними помаленьку... / Ох, чудеса творит со мной природа! / Я, русский сын казахского народа, / Вкусивши сыра, чуть не стал голландцем, / Биг-мака пожевав – американцем. / Мне эти шутки даже надоели... / Да кто же я теперь на самом деле?.. / Телегою тащусь в свою Кыштовку – / Признают ли там Гундарева Вовку?»*

Вовку Гундарева в сибирской Кыштовке (бывшем тюркском «кыстау» – зимняя стоянка кочевников), откуда он родом, не только признали, но и выпустили водку «Деревенька моя» – в честь его знаменитого стихотворения. Отличная водка, скажу я вам! Володя меня угощал, а на закуску – горькие ягоды рябины, что росла под его окном – и тоже в память о деревянной деревеньке. А ещё земляки сделали Гундарева почётным гражданином Кыштовки.

Михайлов снова пошутил:

– Как почётный гражданин, Владимир Романович может бесплатно пользоваться транспортом – гужевым: другого в Кыштовке нет.

Он ушёл так неожиданно и нелепо. Поехал с друзьями на рыбалку, тамхватило ему сердце, уже пережившее инфаркт.

Только и успел сказать:

– Кажется, на этот раз всё...

На пародии никогда не обижался: шурился, попыхивая трубкой. Он больше других ходил на поэта – с этой трубкой, с рыжеватой шкиперской бородкой, в дымчатых дорогих очках и с зелёным перстнем на пальце. Вокруг него всегда толпились женщины, восхищённые его любовной лирикой. Одной из них, которую любил с отрочества, а сблизился только через сорок лет, он посвятил целую поэтическую книгу. Никто из нас на такое не отважился. Гундарев был, пожалуй, последним Петраркой нашего поколения и умер от разрыва сердца, переполненного любовью...

## «ЗАВИХРЯЦКИЙ ХЛЮЗДОЗ»

В 80–90-е годы мы увлекались мистификацией. Так были придуманы мифические герои: любвеобильная и неукротимая Энни Ша, её «гениальный» муж, чревоугодник и зануда Любим Чукчин, а для остроты сюжета – милый друг Энни, князь базаров и красивой жизни, Иосиф Николадзе-Нидворадзе. От имени всех этих персонажей выступали Люба Шашкова – отсюда «Ша», и я, Надежда, – отсюда «Энни». С нашей литературной семейкой стали пикироваться курчумский классик, апологет фердунизма поэт Х. Кислосвёздов (имя скрывалось – только буква «Х») и поэт-инвалид Артемон Фиалков (какой орган был на инвалидности – неизвестно), которые произросли из буйной фантазии поэта Евгения Курдакова и журналиста Адриана Розанова, создавших КурПорт – из начальных букв своих фамилий.

В конце 90-х Курдаков уедет в Россию, в Новгород Великий, и там тоже прославится, а здесь, на казахстанском Алтае, в его честь каждое лето поэты станут проводить «Курдаковские чтения» – после его раннего ухода из жизни. И при жизни, и потом все мы понимали – он большой поэт, он яркой звездой просиял на казахстанском небе. Его переводы Абая, мне кажется, лучшие среди известных русских переложений степного классика. Женя не только перевёл Абая, но и поэму написал, ему посвящённую – «Баллада перевода», пронзительное, на трепетном нерве произведение:

*«Я вас любил... а вы меня убили... / Холодным всплеском пепельного льда / Встревожу ваши небыли и были / Пред тем, как уж умолкнуть навсегда. / Пускай для вас судьбы моей блужданья / Не исказят ни сердца, ни лица – / Судьба поэта тоже назиданье / Умеющим читать её с конца ...»*

Подумала: что бы процитировать из книг Курдакова? Что ни откроешь – всё чудесно, потому листаю наугад, выхватывая строки, как угольки из огня:

*«...Мой берег вечный, река без края, волна и ветер! / Как мало надо, чтоб быть счастливым на белом свете! / На белом свете, под этим небом, на этих пашинях / Простим заблудших, претерпим властных, поднимем падших! / Нагих оденем, обуем босых, напоим жаждых, / Накормим алчных, проводим мёртвых и тихо скажем: / Мой берег вечный, река без края, волна и ветер. / Что ещё надо, чтоб быть счастливым на белом свете?»*

*«...Белый ветер, снов поток – / Где мелькнут лишь на мгновенье / Мои призрачные тени: / Ангел, бабочка, цветок...»; «Не слово породило речь – Речь породила Слово, / В своём возвышенном труде сумевшая посметь / И обозначить зыбкий дух живого и родного, / И смерть назвать, и в том своё бессмертие узреть...»; «Рассвет розовел и дымился морозно / Поверх этих стай и метелей поверх... / Зачем же так поздно, так поздно, так поздно / Душа прозревает и плачет о всех?..»*

Но больше всего мне нравится его мифологическое стихотворение «Псы Актеона» (книги его пронизаны мифами). Все, конечно, знают историю охотника Актеона и богини охоты Артемиды. Актеон случайно увидел богиню нагой и за это был превращён в оленя, и гончие его псы стали травить хозяина, и догнали, и перегрызли горло.

Курдаковым легенда эта была пересказана ради финала:

*«...И миф иссяк уже вполне, без вывода, урока – / И смысл загадочный его остался затемнён... / О чём ты, миф, ведь не о том, что не уйти от рока? / И не*

*о том ведь, что никто не будет пощажён? / Строфа пустеет на ходу и дремлет утомлённо. / Глаза закроешь, и летит, летит кровавый гон... / Стихи мои, слепые псы, собаки Актеона, / Я вас с руки кормил, а вы всё мчитесь мне вдогон...»*

От этих печальных мыслей сбегал Курдаков в мистификацию, на весёлый КурРорт, где его всегда поджидал Адриан Розанов – верный «Джузеппе» древодела «папы Карло»: *«Ах, не вы ль там стучитесь, Джузеппе, / Не полено ли тащите мне?»* Розанов, в самом деле, иногда притаскивал Жене деревянные полена и корни, из которых тот вытаскивал причудливые скульптуры для своего «Сада корней» – Женя работал художником в Краеведческом музее Усть-Каменогорска.

До седых волос дитя и озорник, Адриан Розанов славен ещё и тем, что он сын создателя нашего ТЮЗа и детского музыкального театра в Москве Натальи Сац, которую когда-то сослали в наши края. Красавица, полная энергии, она, говорят, и в 80 лет была окружена молодыми поклонниками. Розанов со школьных лет тоже увлекался театром и сочинением стихов. Рассказывал мне, что однажды в школе поставил спектакль из древнегреческой жизни. Юные артисты были в белых тогах, на животах висели таблички с надписью: «Пуп». Они читали тексты, сочинённые самим Адрианом, но он выдавал их за стихи Эврипида, и учителя удивлялись, что великий трагик писал такую ахинею. Потом Розанов, после долгих лет жизни в Казахстане, уедет в Москву.

Х. Кислосвёздов и Артемон Фиалков не только сочиняли километрами безумные вирши, но и любили народ: водили дружбу с рыбинспектором Крокодиловым, переводили творения курчумского акына Пима Налимова, которые также вышли из пылающих умов Курдакова и Розанова. И за всеми тайно приглядывала английская шпионка леди Хвастэрфильд, заброшенная иностранной разведкой в нашу глубинку. Она себя выдавала за прямую наследницу Шекспира (её девичья фамилия Шекспирович). Муж Энни Ша Любим Чукчин шпионов не любил и быстренько укокошил леди Хвастэрфильд, и даже эпитафию ей написал:

*«Здесь, убита поварёшкой, / Леди кончила свой век, / И Любим скорбит немножко, / Как великий человек»*

Обычная литературная бытовуха! Устами леди Хвастэрфильд говорила поэтесса Люба Медведева, которая самовольно, «дикарём», без путёвки от профсоюза поселилась на «КурРорте».

Люба – уникальный человек. Каждый её день – это единоборство с болью, подвиг Жизни. В десять лет перенесла она саркому, потеряла ногу. Детство, отрочество, когда хочется носиться по лугу, ловить бабочек, играть в мяч, а зимой – кататься на коньках, юность – с первой любовью, с пёстрыми шёлковыми платьями, зрелость, полная творчества и труда, счастливое материнство – всё это на костылях или на протезе, с тросточкой, через телесные страдания. А потом – ушла мать, её опора. Потом – трагическая потеря мужа и двадцатипятилетнего сына. Как устоять, не сломаться? Был ещё пожар: вспыхнула одежда, взвились огненные крылья. Несколько месяцев между жизнью и смертью. Но Люба с истинным христианским терпением приняла и это испытание, преодолела и эту «Горюю-гору»:

*«Не стоит подминать меня / Ни ветру, ни судьбе нещадной: / Взяла и вышла из огня – / Умылась воздухом прохладным...»; «Даже если боль невыносима – / Всё равно выносишь и живёшь...»; «Знаю, за горюю, / За Горюю-горую, / Жаркий день цветёт...»*

И Люба, и Розанов с Курдаковым жили в Усть-Каменогорске, а мы – в Алма-Ате. И закипела переписка! Сколько дурацких и пародийных стишков было написано, сколько шуточных сочинений на самые серьёзные темы возникло – почта не успевала снова туда-сюда. Вот, например, эхолалия Х. Кислосвёздова из цикла «Перепетии», на строки А. Блока: «Случайно на ножке карманном / Найдёшь пылинку дальних стран...»

Ответ Блоку возник у Х. Кислосвёздова в четверг, после дождя:

*«В пыли суровой, придорожной / Найдёшь случайно финский нож – / И так пахнёт тоской острожной, / Что вмиг судьбу свою прочтёшь: / Ночь, улица, фонарь, аптека, / Причин связующая нить. / И – остановишь человека, / И – тихо спросишь прикурить... / Тюрьма... Мечты ушедшей шёпот... / Переплетье злых сил... / Нет, лучше шёл себе и шёл бы, / И – ничего б не находил!»*

«Эхолалия» – любимое словцо Курдакова, который в конце жизни увлёкся изучением пра-языка славян, написал мудрёные труды на эту тему, а заодно попытался угадать имя автора «Слова о полку Игореве» – и даже назвал его, но учёные усомнились, и тайна осталась тайной.

А вот стихозный тайфун Энни Ша со скромным названием «Я»:

*«На мне зелёные чулочки / И платье красное, в цветах. / Люблю оборки, оторочки, / Ещё воланы в кружевах! / Люблю набитые карманы, / Люблю зверей свирепых мех. / Люблю излишества, изъяны: / Противно – «до»! Прекрасно – «сверх»! / Хочу я полноты и больше: / Потопа, бури и огня. / Пусть будет талия не тоньше / Земного Шара у меня! / Пусть будут коваными ляжки, / Как сталь дамасского клинка. / Пусть будут виться не кудряшки, / А в пене бешеной река! / Пусть от моих объятий страстных / Мужчины замертво падут. / Да, я прекрасна, я ужасна, / Как вулканический салют! / И нет возвышенной картины! / И отвести не в силах глаз, / Идут на мой призыв мужчины – / И бездны пропускают нас!»*

Писатели старшего поколения, литературные олимпийцы, неодобрительно поглядывали на это наше увлечение, выговаривали нам: литература – это вам не баловство, это подвиг духа (а как же эпиграммы Пушкина и Лермонтова? Как же Козьма Прутков, придуманный Алексеем Толстым со-товарищи?) Старики твердили: за письменный стол надо садиться с возвышенными мыслями в голове, в белоснежной рубашке и с чисто вымытыми руками (так делал, наверно, только А. Блок: он всегда тщательно протирал пыль в своём кабинете – перед тем, как начинал творить. Остальные творили где попало, и часто среди полной антисанитарии).

Мы не слушали мудрые советы и продолжали балбесничать, ответив старикам новым стишком:

*«Мистификация, игра... / Вы обойдёте их едва ли. / Пора играть, мой друг, пора, / Пока мы в ящик не сыграли, / И нам дозволено пока / Дурачиться и притворяться. / Кто не стыдится быть паяцем, / Тот счастлив – и наверняка!»*

Собралась целая книга «Завихряцкий хлюздоз», где были такие разделы: «Одноякость», «Мои словоотправления», «Неприличные надписи», «Напле-визмы», «Банные угоризмы» и т. д. Книгу порывалась издать Татьяна Петровна Постникова – сестра поэта Олега Постникова. Были даже сделаны эскизы её мужем художником Сашей Кузнецовым, макет книги, но тут издательство, которым Татьяна Петровна руководила, приказало долго жить. Да это, наверно, и



правильно, что книга не вышла, потому что она постоянно пополнялась – и пополняется! – новыми шутками, пародиями, «угоризмами». К нашему «Завихряцкому хлюздозу» подключились и другие авторы. Похоже, это «вечная книга» – устное творчество весёлого народа.

## ВЕСЁЛЫЕ ДОЛГОЖИТЕЛИ

### Акын по имени Надежда

Алма-атинские острословы выдали как-то экспромт: *«Ни с того и ни с чего, / Все поём до одного. / Если песню ты загнул – / Значит, жив в тебе Джамбул!»*

Живого Джамбула я, конечно, не видела – он скончался в 1945 году, почти в сто лет, за два года до моего рождения: не дождался меня! Но тень его бродила по нашему Городу, имя было всегда на слуху, окружённое легендами, притчами, шутками. Например, фонтанчик у его памятника на улице Джамбула в Алма-Ате шутники прозвали: «Струя Джамбула».

Я бывала в его ауле под Алма-Атой, в его доме, где теперь музей. Познакомилась с акыном Надеждой Лушниковой. Она русская. Один из её предков занимался когда-то в Азии чайной торговлей. В раннем детстве Надя оказалась среди казахов. Окончила казахскую школу, где училась вместе с будущим президентом Казахстана Назарбаевым (он прекрасно читал стихи и пел), потом – казахское отделение филфака ЖенПИ. Пишет стихи по-казахски и даже побеждает в айтысах, считая своим учителем Джамбула и его последователя, акына Умбеталы.

Вспоминает:

*«Я маленькая девочка была, когда бабушка меня повела к Джамбулу. Я зашла в юрту. Он сидел на белой постели, в белом одеянии, с белой бородкой, красивый такой дед. И были там яблоки, первый раз я такие увидела яблоки, от которых шёл удивительный аромат по всей юрте. Жамбыл взял одно и подал мне. А шли мы километров десять туда, так пить хотелось. Помню, с какой жадностью, причмокивая, я ела это яблоко... У казахов яблоко – символ рождения. Там зёрна, сок, аромат, радость для души человеческой. Я думаю, этим жестом Жамбыл меня благословил. У меня стихи есть такие, что с яблоком он как бы передал мне наследие дедов и отцов... А любимый ученик его, которого Жамбыл называл «Кара-Жорга» – «Чёрный иноходец», акын Умбеталы на моей свадьбе с Турлыбеком Нурбековым совершал обряд «беташар» – открывал мне лицо перед аульчанами. Умбеталы был замечательным импровизатором... Я создала музей Умбеталы. При музее работает акынская школа, и у меня там есть ученики, которые могут петь по полмесяца, не повторяя ни единого слова...»*

И ещё об одной встрече рассказала Надя – с космонавтом Талгатом Мусабаевым, который ещё и земляк её: они из одного аула. Так вот, Талгат, который сорок два часа работал в открытом космосе, сказал Наде, одетой в строгий чёрный костюм:

*«Знаете, а космос чёрный... Чернее вашего костюма. Это сплошная темень. А Земля наша, как Божий глаз – голубая, магическая...»*

Я переводила стихи Нади Лушниковой, что, конечно, выглядит странно, как и переводы стихов Олжаса Сулейменова на казахский язык. Он «открыл» новый народ: тюркославяне, к коему, видимо, относит и себя, ведь он по крови тюрок, а по культуре – славянин, и этим «открытием» попытался объяснить и оправдать

быть может, перед казахами своё русскоязычное перо. Надя Лушникова, если придерживаться его теории, тоже тюркославянка, только наоборот: русская по крови, воспринявшая тюркскую культуру. Вот отрывок из её стихотворения об айтысе, где она, русская девушка-айтыг, вызывает на поединок молодого соперника:

*«Эй, выходи с домброю! Дышат полынью луга. / Славною выйдет сегодня песенная байга! / Если меня ты обгонишь, лучший скакун молодой, / Я подарю тебе перстень, перстень отдам золотой!»*

Но нет молодых. Нет сильных. Нет достойных. Только ветхий старец, прославленный в песенных состязаниях, Мукаш Байботыров из Жетысу остался, но и он молчит.

*«Тихо. Толпа онемела, вся ожиданьем полна, / И на Мукаша-акына смотрит с надеждой она. / Под девяносто акыну, знает седой ветеран, / Знает, куда страшнее самых смертельных ран, / Если на вызов тотчас же не отзовется акын, / Коли словесную жажду не утолит он один...»*

Надежду расстроил выбор толпы. Не стерпела. Обиделась:

*«Кто-то решил, Надежда русскою рождена, / Так что она и старцем будет посрамлена?»*

Прославленный акын усмехнулся, упрекнул джигитов, что струсили перед Надеждой, а её похвалил за смелость и, поцеловав домбру, лукаво заметил: «Ты невестка молодая, да благословит тебя Всевышний! Да хранит Он тебя, чтоб не пристало к тебе ничего! Чтоб ты ничего такого не подхватила!» – и расправил крылья, и вступил в песенное единоборство, глаза его засверкали молодым огнём. Неважно, кто победил: молодость или старость. Это было захватывающее зрелище!

Айтыс – замечательное изобретение кочевых казахов. Нынешние сочинители рэпа с их батлами – бледное подобие акынов. Айтыс требует молниеносной реакции, виртуозного владения словом, версификаторским даром, чувством юмора, бесстрашием перед правдой, сильным голосом и выносливостью: мастера айтысов поют порою по несколько часов, не уступая первенства – и всё стихами, сочинёнными тут же. Самые талантливые айтыги остались в памяти поколений – наравне с прославленными в битвах батырами. И это ещё раз подтверждает моё убеждение, что казахи – народ-поэт, что Великая степь стоит не на трёх китах или трёх черепахах, а на песнях, и мы с Надеждой Лушниковой родились в правильном месте!

Надя рассказала мне мистическую историю. Висит у них в доме на стене старинная домбра. Иногда домбра начинает играть сама по себе. Дочь Нади, Алёна, смеялась над этим: мол, ветер беспокоит струны или просто слуховые галлюцинации: не может деревяшка сама играть. А Надя одёргивала неразумную дочь: «Нельзя смеяться над домброй! Это священный инструмент – в нём есть Душа». Но дочь не слушала – смеялась. И досмеялась! Доила она корову, и тут укусил её клещ. Парализовало девушку. И услышала она домбру, которая играла сама собой, откликаясь весенней грозе – молнии ударяли по струнам, и заплакала девушка, и стала поэтом. Красавица-казашка по отцу, стихи пишет по-русски, прикованная к инвалидному креслу. Всё смешалось в доме Нурбековых-Лушниковой – и всё выстроилось благодаря любви, о которой говорит Алёна:

*«Не просите у Бога денег – / Попросите любви. / Любовь с вами вечно будет – / В горе, радости и ненастье. / Бог поможет и не осудит – / Он прощает нам, людям, счастье...».*

А домбра на стене всё играет...

## Легенды о Джамбуле

О Джамбуле рассказывал мне и мой свёкор, Геннадий Николаевич Новожилов, который, будучи оператором «Казахфильма», снимал акына для кинохроники. Рассказ свой он повторил потом в книге «С камерой – по жизни»:

*«...Мне запомнился тот день, когда я приехал в Узун-Агач снимать встречу Джамбула с избирателями. Это было в июне 1938 года. Джамбул неоднократно избирался в Верховный Совет республики. Множество народа собралось на площади, а на высокой трибуне стояли руководители республики, и в центре – кандидат в депутаты, Джамбул. Я снял трибуну, Джамбула, ораторов и т. д. В это время в руках Джамбула появилась домбра, и он запел. Все свои речи он пел. Быстро настроив аппарат, я снял обций план с поющим Джамбулом и стал пробираться сквозь толпу поближе, чтобы снять крупным планом. Это было нелегко – люди слушали с увлечением и не давали мне дорогу, не расступались. Пока я шёл, Джамбул закончил выступление и замолчал. Но крупного-то плана нет!*

*Недолго думая, я поднялся на трибуну и подошёл к секретарю райкома:*

*– Пожалуйста, попросите товарища Джамбула спеть ещё. Я не успел снять крупно. Очень нужно!*

*На трибуне услышали мой умоляющий шёпот и рассмеялись, но Джамбулу об этом сказали. Он снова начал петь. Пел и улыбался, а зрители смеялись и смотрели на меня. Я быстро крутил ручку аппарата. Джамбул пел весело и вдохновенно, я никогда не видел его таким оживлённым. Обычно, сидя в разных президиумах, он хмуро молчал, лицо его было непроницаемо и сурово. А тут – пел и улыбался! О чём он пел, я, не понимая казахского языка, не знал, но это не имело значения. Главное – были сняты отличные кадры.*

*– Почему все смеялись? – спросил я секретаря райкома после митинга. – О чём пел Джамбул?*

*– Про тебя пел, как ты, молодой, не смог угнаться за ним, стариком!)*

Снимал он Джамбула и во Дворце культуры Алма-Аты, на праздновании 75-летия его творческой деятельности, где вручили акыну его портрет, вышитый шёлковыми нитками, с надписью: «От Совета жён работников Турксиба». При вручении этого подарка уставший от юбилея акын оживился и долго не отпускал от себя нарядных жён. Стариков всегда бодрит и вдохновляет вид молодых женщин! Было ему 92 года, а умер он, не дожив года до своего столетия.

Рассказ Геннадия Николаевича доказывает, что Джамбул в самом деле был акыном-импровизатором, сам экспромтом сочинял свои песни, а не кто-то за него писал, что сквозит в некоторых воспоминаниях о нём. А начались эти сомнения с распоряжения властей срочно найти и канонизировать народного акына, сделав его знаменем советского Казахстана, и через его уста проводить политику компартии СССР. Есть разные версии, как Джамбул стал главным акыном страны. Я расскажу эту, малоизвестную – со слов Анны Борисовны Никольской:

*«...Напечатали однажды в «Правде» стихи о Сталине. Подпись: «Перевод с казахского акына. П. Кузнецов» Эти стихи понравились. Павла Кузнецова вызывают в ЦК: «Чьи стихи?» – «Не помню!», – говорит. – «Как не помнишь? Ты же их переводил?» Наконец, прижали его, он сознался, что согрешил и стихи написал сам. Что делать? Идея-то с акыном хорошая. Тут собрался пленум казахских писателей: Сакен Сейфуллин, молодой Ауэзов, начинающий Тажибаев. Они и*

обратились к залу: «Товарищи, кто знает подходящего казахского акына?» Кто-то назвал: «Джамбыл!» Тажибаеву дали машину и приказали привезти Джамбыла. Тажибаев поехал. В ауле ему сказали, что Джамбыл отправился в Алма-Ату, к родственникам. Как его найти в большом городе? «А-а, – говорят, – очень просто! Ищи в слободке по белому ишаку. Он уехал на белом ишаке!» Тажибаев вернулся в город и нашёл белого ишака, а там и акына поймал: «Поехали, – говорит, – срочно в Союз писателей!» – «Ой-бай!» – Джамбыл стал упираться. Его кое-как удалось впихнуть в машину. Он снова кричит: «Ой-бай! Бала, бала, сюда!» Испугался, что один поедет в страшный Союз писателей, но Тажибаев успокоил его, сказав, что и он поедет тоже. В Союзе писателей Джамбыл стал снова упираться: мол, не хочет быть главным акыном страны, но ему сказали: «Так приказал Сталин!»

На ночь Джамбыла привёл к себе всё тот же Тажибаев. Но городская, изнеженная жена не хотела пускать в дом чужого аульного старика: «Нет, нет! По нему, наверно, бегает, а у меня дети!» Потом ему придали благообразный вид и сделали народным акыном. Он бренчит себе на домбре, что-то поёт, а секретари тут же подхватывают, записывают (секретари – поэты), а Кузнецов потом обрабатывает подстрочник и публикует...»

Насколько правдива эта легенда – не берусь судить, но, может, так оно и было. В самом деле, к нему приставили переводчиков, и один из них – репрессированный по 58-й статье поэт Павел Кузнецов. Он, видимо, был отправлен к акыну ради исправления и перековки – сочинять песни о вождах, и главным образом о Сталине, который и сослал Кузнецова как «врага народа» в наши степи. Кузнецов переводил, и потом пил горькую. Переводил – и снова пил. И много перевёл «идеологических песен», совместно с другими поэтами, которые тоже были приставлены к Джамбулу. В перерывах между сочинением песен государственного значения и запоями своих переводчиков Джамбул пел, о чём хотел, как и всякий степной акын, одержимый мгновенным вдохновением.

### Ловушка для Орфея

В моей библиотеке хранится книга Джамбула – в богатом сафьяновом красном переплёте, с тиснением, лощёные страницы переложены папиросной бумагой, шёлковая закладка. И вот в этой дорогой книге, среди гимнов вождям, есть поэма об «Утеген-батыре», где поэт так говорит о своей вольной песне – не подвластной ни тиранам, ни лукавым переводчикам:

*«Я не сам её слагаю. / Где я взял её – не знаю. / Мне её пропели ветры, / Что степями пролетают. / В криках дикого оленя, / В соловьином нежном пенье, / В гордом клёкоте орлином / Я слышал об Утегене. / По горам и по долинам / Я бродил, аул покинув. / И слышал об Утегене / От жырышы и от акынов».*

Дикий олень и нежный соловей вряд ли пели Джамбулу о батыре Сталине или батыре Климе Ворошилове. Нищий бродяга-акын в драном халате, который с отрочества стал жить без родительской опеки, семьдесят лет существовал вольно и независимо, на своей кляче кочуя от юрты к юрте, слушая только струны своей домбры. Вызвать вдохновение и порыв к экспромту могло всё что угодно: беркут в небе, суслик у песчаной норы, улыбка красивой девушки, бег дикого тулпара.

А потом степной Орфей попал в коварную ловушку. Одели Джамбула в бархатный халат, расшитый золотом, посадили на доброго коня, приставили к нему

помощников, чтобы записывали за ним песни – он-то сам их не записывал! – и стал акын петь по заказу. Но всё же пронзительные строки его стихотворения «Ленинградцы, дети мои...», война, где погибли его сыновья, вековые беды кочевников – это настоящая боль акына, а не переводная. А вот насчёт гимнов в честь вождей – тут вопрос... Но пусть в этом вопросе разбираются историки литературы и судит потомство грядущих веков. Мы не можем быть объективными судьями, потому что мы его современники по XX веку и сами были в идеологических сетях. Но я обратила внимание в «Поэме о наркоме Ежове», написанной в печальном 1937 году, на слова, которые – через времена! – смещают фокус зрения. Они как бы изображают не богатеёв-ханов из тёмного прошлого, а приспешников Сталина, в том числе и наркома Ежова, этого одиозного «героя»-карлика с наклонностями садиста, который ещё и мужеложеством грешил. Кто знает, может быть, не случайно писался дерзкий подтекст в зачине поэмы акыном и его толмачём, Константином Алтайским? И тот, и другой были не только талантливы, но ещё и умны. Зря кое-кто думает, что Джамбул был неграмотный аульный старик. Это был умный, мудрый человек.

*«Свежа моя память. / Я помню былое. / Сидели мананы и баи с муллою. / Икали и тили прохладный кумыс. / В усладу им песни рекою лились. / Продажный акын за кусок бесбармака / Слагал свои льстивые песни собакам. / Униженно ханов и беков хвалил, / Грабителей выше звезды возносил. / Бесчестно присваивал званьё героя / Убийцам, ворам, атаманам разбоя. / Батырами именовал палачей, / Чья совесть темнее безлунных ночей...»*

Почему акын начал свою поэму о Ежове с этих строк? Зачем следом стал отстранять себя от «продажных акынов», будто отрекался от «льстивых песен»: *«Но песня моя никогда не лгала. / Её не слышали ни хан, ни мулла...»*

Бывшие ханы её не слышали, это правда, а новые – коммунистические правители – слушали, требовали таких песен, и «в усладу им песни рекою лились» со всех сторон, от продажных советских поэтов, которые тоже батырами именовали палачей. Но не все лукавили и были откровенными конъюнктурщиками. Многие – и Джамбул в том числе – искренне восхищались Сталиным, даже те, кто прошёл страшные сталинские лагеря. Фигура вождя народов неоднозначна. Личность его до сих пор занимает историков, биографов, писателей и оставшихся в живых ветеранов минувшей войны, а вот остальных «красных батыров» поминают недобрым словом. Сталин был действительно великим человеком – с двумя большими знаками: «плюс» и «минус», не зря президент Америки Рузвельт признал, что при Сталине страна сделала гигантский скачок от сохи к созданию атомной бомбы. Так и есть, но всё же грустно, ведь у слов американца получился и другой смысл, который он, может, не планировал, а, может, как раз планировал: от сохи, пусть и примитивного, но мирного труда – СССР двинулся к атомной бомбе, к войне. Движение это было необходимым, чтобы выжить в окружении врагов, в том числе и США, тем печальнее...

*«Перекуём мечи на орала»* – этот библейский призыв пока так и остался мечтой человечества, которое делает всё наоборот: перековывает орала – на мечи, церковные колокола – на танки, домашнюю утварь – на пули. «Орала» тоже есть – орут на майданах и митингах, подогретые преступными поводами, чьё ремесло – разруха и кровь. И внедрилась в наши мозги вековая мудрость: *«Хочешь мира – готовься к войне!»*

Джамбулу, с одной стороны, повезло – его выбрали из множества степных певцов «главным акыном страны», осыпали почестями, дом хороший дали, ордена. А с другой стороны – это был несчастный человек, заложник коммунистической системы, которая требовала отрабатывать свои дары. Воспротивишься – могут уничтожить.

Но народ его любил. Думаю, за то, что он был на стороне «маленького человека», терпящего притеснение от сильных мира сего во все времена, а ещё – он был хранителем народных преданий и героических песен о настоящих батырах, а не временщиках. И это был, несомненно, талантливый человек, виртуозно владевший поэтическим словом. За хорошую песню Степь готова простить любые грехи!

### Легенда о мешке денег

Есть такая легенда об акыне. Приехал как-то Джамбул в Алма-Ату за гонораром. Выдали ему в издательстве деньги, но рублями – получился целый мешок. Бухгалтерия так веселилась! Девяностолетний акын устал с дороги, прилёт отдохнуть прямо на земле, в саду бухгалтерии. Несмотря на высокое своё положение, оставался акын простодушным и непритворным и приехал всё на том же белом осле, на котором и раньше ездил. Мешок с деньгами под голову подложил, чтобы не украли. Но всё равно украли. Он и не уследил – такой крепкий, здоровый сон был у старца!

Много лет спустя подобный же казус приключился и с одним именитым композитором. Приехал он в родные края – встретили его радушно и щедро, новый костюм подарили. Ночью шёл из очередных гостей, и воры его раздели.

Композитор потом шутил:

– Вот за что я люблю свой народ: сам одел – сам и раздел!

Но в шутке этой слышится мне библейский завет: *«Снимают с тебя кафтан – отдай и рубашку!»* Какое смирение гордыни и возвышение над материальными благами...

### Раевский и Пушкин

Видели мы и другого старца, с удивительно живыми и молодыми глазами, который всегда был окружён женщинами. Они с благоговением слушали его. Ещё бы! Это ведь писатель Николай Раевский, знавший о Пушкине всё!

Ай да Пушкин! И через века он очаровывал женщин, любое прикосновение к нему вызывало романтический трепет и эротический жар: *«Я всё люблю язык страстей, / Его пленительные звуки / Приятны мне...»*

Кишинёвский знакомец поэта В. П. Горчаков описывал в своём дневнике, как преображался Пушкин при виде дам:

*«Мрачность его исчезла, её сменил звонкий смех, соединённый с непрерывною речью, оживляемой всею пышностью восторжений. Пушкин непрерывно краснел и смеялся, прекрасные его зубы выказывались во всём блеске, улыбка не угасала...»*

И ещё отмечали очевидцы, что когда Пушкин начинал говорить, речь его завораживала, вовлекала в поток блистательных мыслей и неожиданных поэтических высверков. Он был великолепен! Наш поэт Олжас Сулейменов, мне кажется, точно

сказал о нём: «*Кто видел Бога? – Тот, кто видел Пушкина!*» А тут – Раевский, прабабушка которого Пушкина видела живьём – на балу, куда её вывозили в 16 лет, как и Натали Гончарову, и Гоголя видела его прабабушка – он преподавал у них в Институте благородных девиц. Раевский и сам напоминал современника Пушкина и Гоголя, так он не вписывался в наше время, был чужероден ему, будто выпал из XIX века, слетел с его орбиты, когда Время сделало крутой вираж.

## Нить

Николай Раевский был не похож на свою жизнь. А жизнь его такова. Он воевал на стороне белых, попал с Добровольческой армией в Турцию, в Галиполи, потом в Чехословакию. Он, после Великой Отечественной войны возвращённый насильно на родину, в Россию, был немедленно отправлен в сталинские лагеря, прошёл все ужасы земного ада, но выжил: с ним был Пушкин! Ведь ещё будучи в эмиграции, напал Раевский на след уникальных пушкинских документов в чешском замке, в местечке Бродяны. Находка эта стала его дальнейшей судьбой, сделала пушкинистом, писателем, прославила. Дело в том, что в этом замке жила когда-то сестра Натали Пушкиной – Александрина, которая вышла замуж за чиновника австрийского посольства в России барона Густава Фризенгофа. Натали бывала в гостях у Фризенгофов, и артефакты остались, видимо, от неё. Раевский написал потом две книги: «Когда заговорят портреты» и «Портреты заговорили», похожие на литературный детектив. Книги стали бестселлерами. Написал он их в преклонном возрасте, так как лучшие годы провёл в сибирских лагерях, где, как биолог по образованию, врачевал узников, но и о Пушкине думал всегда, лекции читал зэкам о нём, и зэки его уважали. И, наконец, он, уже в преклонных летах, женился на редакторе своих книг Надежде Бабусенковой – миловидной барышне, лет на сорок его моложе, а прожил Николай Алексеевич почти полный век, родившись в 1894 году. До конца своей жизни Бабусенкова занималась изданием наследия Раевского. Параллельно с ней работал Олег Карпухин, который разыскал рукописи Раевского в Чехословакии, который тоже выступал публикатором его книг, из-за чего возник конфликт с вдовой писателя: она никому не хотела уступать своего Раевского!

Николай Раевский был не похож на свою жизнь. Он совсем не выглядел героем. Невысокий ростом толстячок, он напоминал круглый колобок. Вкруг его пятнистой лысины витали седые кудряшки. Мягкое, бабье лицо с пухлыми щеками, тонкий голосок – всё это не выглядело мужественным или привлекательным. Он был, скорее, нелеп и смешон. Но когда начинал говорить о Пушкине, о Натали Гончаровой, о её сёстрах, о царе, о Дантесе, о веке девятнадцатом, притягательном и полном тайн, глаза его загорались молодым огнём, лицо преображалось, исчезало всё смешное и нелепое. Слушателей охватывал настоящий экстаз влюблённости. И особенно слушательницы. Они буквально трепетали от каждого его слова, будто шли со свечой вслед за Раевским в блистательные петербургские салоны, секретные кабинеты, будуары петербургских красавиц, заглядывали за китайские ширмы, в щёлки плохо прикрытых дверей с начищенными бронзовыми ручками. Стараясь не скрипеть разохшимися ступенями, поднимались на цыпочках по витым лестницам, таились в тёмных мансардных комнатах с полукруглыми окнами, которые начинались от пола и упирались в низкий потолок. Перепончатые переплёты этих окон тенью падали на синий январский снег, где тускло мерцали жёлтые фонари. Их зажигал

таинственный фонарщик. Кажется, даже ощущался запах нафталина, исходящий от потёртого лапсердака фонарщика, и запах воска от паркета дворцов, и запах тонких духов от распалённых танцами дам, а от кавалеров – упоительный запах кожаной португепи, пороха, дорогих сигар. А Раевский всё открывал и открывал новые двери – высокие, в золотой резьбе, залитые ослепительным светом.

Ах, Раевский! Как нарочно, судьба подарила ему и фамилию из пушкинских времён, потому казалось: он и сам оттуда, из XIX века, из 1812 года, когда тёзка его, генерал Николай Раевский вместе с юными сыновьями бросался в бой с французами и стал героем той войны, и к семье Раевских был близок Пушкин, и он – поочерёдно – влюблялся в дочерей генерала, под шум черноморских волн, под пение ночных сверчков и блеск луны.

Когда Николай Алексеевич написал свою книгу «Портреты заговорили», читающие дамы, подёрнутые сединой и пудрой, стали донимать его, изменила всё же Натали Пушкина мужу или нет? Было ли у неё что-то с Дантесом?

Он отвечал уклончиво:

– Смотря что понимать под изменой. Есть несколько кодексов...

– Ну, было у них *это самое*? – не унимались дамы.

– Как сказать... Если следовать кодексу иезуитов, то изменой считается факт, когда между телами мужчины и женщины не проходит нить.

– Ну так что? – не терпелось дамам. – Как тут было с нитью?

– Тут нить проходила, и, значит, это была не измена, хотя всё остальное между ними было...

Дамы призадумались, а потом стали рассуждать логически, что, конечно, редко бывает у дам:

– Как вы думаете, девочки, за какой конец нити держался Раевский, чтобы говорить столь уверенно?

Ах, Раевский! Ах, лукавец!

## «Царица богов» – Гера

Моей подруге Гере 92 года, но язык не поворачивается назвать её старухой. Когда я ей говорю о моём возрасте – я на 20 лет её моложе, то она смеётся: «Девчонка!» Гера замечательная! Она всегда неожиданна, как выстрел на воздух. У нас – дружба «без подтекста», что почти невозможно с поэтами. С поэтами дружбе «без подтекста» мешает отсутствие или присутствие успеха, борьба за первенство, что меня всегда утомляло. Эта борьба и в обычной – не творческой – жизни есть, но между нами с Герой никогда не вспыхивала, а дружим мы уже лет тридцать.

У Геры суровая профессия: она следователь по особо важным делам, заслуженный работник юстиции (ещё СССР), боролась с криминалом на Дальнем Востоке и в Белоруссии, на Алтае и у нас в Казахстане. Как-то, когда работала она в Приморье, поступил сигнал, что в соседнем доме уже второй день плачет ребёнок и никого там из взрослых вроде бы нет: дверь заперта и дым из трубы не идёт. Гера с оперативной группой выехала на место. Вскрыли дверь – а там грудной мальчик. Один. В нетопленной избе. Оказывается, мать с бабкой запили и пропали, а отец малыша сидит в тюрьме – он вор. Мальчика этого, Станислава, Гера потом усыновила и увезла на Алтай, подальше от преступной семейки. Теперь у неё уже и внук есть, а кровных детей Бог не дал. Но эта тема закрытая, потому что болезненная.



Гера хотела стать актрисой и даже поступила в театральный институт, но деревенская семья отговорила её от сомнительной профессии, и тогда подалась Гера в юристы. Но актёрские наклонности остались, хотя бы в том, что «Гера Грибовская» – это не настоящее её имя. Актёры любят придумывать себе броские имена. На самом деле она Галина Акулинка – из вятского сельца Акулинкино, из бедной крестьянской семьи, а Грибовская – по первому мужу, с которым прожила неделю и сбежала: поняла, что не любит, а вот фамилия его ей понравилась и она оставила её себе, прибавив к ней громкое имя – Гера!

Гера, как мы знаем из мифологии, греческая богиня, которая триста лет скрывала свою порочную связь с Зевсом: она была его сестрой и тут попахивало инцестом. Потом, конечно, рассекретились. Зевс официально объявил Геру своей женой, седьмой по счёту. А что было делать? Уже ведь и детей наплодили. Волоокая Гера в браке с Зевсом так насобачилась показывать фокусы, что, как и он, стала повелевать тучами, бурями, молниями и громами. И после нескольких драк с шестью жёнами Зевса и бурных сцен с мужем Гера добилась, чтобы Зевс назначил её царицей богов.

Наша Гера к тому же стремится. Вот никак ей не хочется быть простой крестьянкой, а метит она в столбовые дворянки, для этого и легенду придумала: мол, появился как-то у них в сельце Акулинкино под Вяткой беглый декабрист – из лесу вышел («*Он из лесу вышел, был сильный мороз!*»), бабушка Геры его приютила, в баню пустила переночевать, и, может быть, согрешила с ним, пока муж-пьяница не видит, и родила от него мать Геры, Екатерину Гавриловну – очень благородного вида, потому что был этот декабрист, ясное дело, дворянином, и выходит, что и она, Гера, дворянка. Отец Геры, Захар – бедняк из бедняков и пьяница – мытарил жену, не прощая ей кулацкого происхождения: Екатерина Гавриловна была из зажиточной когда-то семьи, раскулаченной при Советах. Жила у Акулинкиных в доме переходящая работница Гапка, на полу спала. Так Захар дождётся, когда жена заснёт, да и нырнёт к Гапке на пол, и кувыркается с ней до зари. Екатерина Гавриловна пыталась возмущаться, за это Захар бил её смертным боем. А всё равно прогнала она Гапку. Пошла беспутная эта девка шататься по деревне – нигде её в дом не брали. Так и пропала где-то.

После Грибовского Гера ещё дважды выходила замуж, и снова неудачно. Третьему мужу, Николаю, вставила зубы, придела, выкопала на даче погреб, после чего пришли дети Николая и Геру прогнали: мол, и дача наша, и погреб, и папаша – вместе с новыми зубами, а вы тут никто! Николай был последним мужем. Больше Гера брачных попыток не делала. Дольше всех прожила она с предыдущим мужем, который был у неё до Николая. Фамилия у него смешная – Селявка. Вышла не по любви, а чтобы усыновить Станислава, и парня растила, по сути, сама: с Селявкой они расстались через несколько лет. А потом полюбила она кинорежиссёра Мишу Правдина, и любовь эту называет самой великой в бурной своей жизни. Но Миша был женат, и кроме платонически-романтических отношений там ничего больше не сложилось.

На милицейской службе её театральные способности пригодились.

Коллеги удивлялись:

– Как это у тебя получается, Гера? Разыграла громилу, как по нотам! Никто не мог его расколоть, а ты расколола. Ты, случаем, не из театра такая?

– Из театра!

– Из какого?

– Из театра абсурда!

Страсть к театру, к театрализации жизни осталась навсегда. И любая встреча с Герой – это импровизированный спектакль, где главное действующее лицо – Любовь.

И даже теперь, на сильном склоне наших лет, спрашивает:

– Что нового на любовном фронте?

– На фронте без перемен: никто не стреляет!

А раньше – стреляли. Гера переживала вместе со мной мои «ранения» и пыталась устроить мою судьбу – активно сватала мне женихов. Я её в шутку звала «электронная сваха, у которой переключивало программу». Необходимо уточнить: сватала она мне женихов, когда я вдовела. Так-то мы с ней чтим «Семейный кодекс», а когда нарушаем – каемся.

### Отставной козы барабанщик

Как-то познакомила меня Гера со своим бывшим сослуживцем, «настоящим полковником», правда, в отставке: отставной козы барабанщик! Мы были в «милицийских» гостях, где Гера угорала от «половецких плясок», и особенно ей нравилось зажигать под сумасшедший хит Африка Симона. Самой Гере полковник не подходил – старый! И она щедро поделилась им со мной. Полковник гарцевал при орденах и с гармошкой. Сразу приступил к делу: легко пустился вприсядку, кружил вокруг меня сизым голубем, интимно прижимая к груди гармошку. Но приблизил к себе не сразу. Сначала выяснил во всех подробностях мою биографию, и только убедившись, что у меня нет судимостей и отбывания в психбольнице, пригласил к себе домой. Подготовился основательно: напёк блинов, плов сварил, нарезал колбасы и плавленых сырков. После трапезы исполнил на гармошке целую праздничную программу, притопывая ногами в ярко начищенных сапогах. Решив, что все необходимые для бракосочетания действия совершены, предложил жить вместе. Я попросила дать мне время подумать. Дня через два позвонила ему: мол, простите, Бога ради, вы прекрасны, спору нет, но принять ваше предложение не могу.

Он оскорбился:

– Да кто ты такая, чтобы мне отказывать? Да любая за счастье посчитала бы моё предложение, босиком бы по морозу побежала за мной!

– Вот сейчас как раз мороз, – сказала я, – можете устроить кросс невест!

Он потребовал, чтобы я в таком случае оплатила ему расходы на обед.

### Сирано де Бержерак и число «Пи»

Другой жених был ещё лучше. Начитанный математик Герман Иванович. Гера заприметила его в книжном магазине. Он покупал новый псевдоисторический роман Пикуля, а мы с Герой приценивались к Булгакову – она хотела подарить мне его ко Дню молодёжи. Герман Иванович был в очках с сильной диоптрией, отчего глаза его смотрели, как акула из воды, а голова напоминала поседевшего от ужаса ёжика – короткие волосы стояли дыбом.

Эти волосы, недельная небритость и мятая рубашка тут же привлекли внимание Геры:

– Надежда, он точно не женат! Надо брать!

Познакомилась с ним и соединила нас узами предбрачных отношений, взяв с меня слово: я не скажу Герману, что ненавижу математику и что в школе у меня

была стойкая двойка по этому предмету. У нас с математиком состоялось несколько встреч, как он говорил: «Для предварительного ознакомления». Герман жил один – с собакой Тангенсом и котом Катангенсом. Признался, что до меня у него было несколько женщин, но все быстро обнаружили у себя аллергию на собак и кошек и покинули математика. Выражался Герман всегда изысканно. Если речь шла о серванте, то непременно скажет: «Возьмите бокалы в Сервантесе!», а если из Германа вырывались ветры, то он, ничуть не смущаясь, докладывал, что у него произошла случайная встреча с Пукуриани. Куда бы мы ни приходили: на книжный развал, в кино или кафе, он первым делом начинал искать «мужскую» комнату и тут же её посещал. Видно, встречи со мной сильно расстраивали его организм, но и об этом он говорил изящно:

– Извините, мадам, но мне надо удалиться в обсерваторию. Меня туда срочно вызывает Сирано де Бержерак!

А после нескольких кружек пива включался, видимо, математик, и Герман Иванович взвещал:

– Пойду, нарисую число «Пи»!

Иногда «рисовал» долго, и я начинала волноваться: «Уж полночь близится, а Германа всё нет!» Казалось бы, что тут такого? Дело житейское. Но меня почему-то всё это коробило. И однажды, когда его снова срочно вызвали в «обсерваторию» и Сирано де Бержерак, и число «Пи» под обстрелом Пукуриани, я сбежала.

### Алкоголик-гурман

Был ещё бывший алкоголик. Год назад он закодировался. Даже показывал мне, хоть я и сопротивлялась, где зашита у него антиалкогольная «торпеда». В парадной комнате у него имелись полки, уставленные пустыми бутылками с разноцветными наклейками заморских вин. Он был гурманом. Водил меня по своей бутылочной галерее и вдохновенно рассказывал, где и с кем употребил содержимое каждой ёмкости. Глаза его при этом горели огнём хмельного безумия: он как бы снова и снова выпивал свои бутылки. Стены другой комнаты были увешаны картинами – он собирал и живопись, но не всякую, а тематическую. На полотнах неизвестных художников тоже присутствовали коллекционные вина, а к ним – хорошая закуска: розовые окорока, рыбины, подёрнутые нежным жирком с разинутыми в последней истоме ртами, нескромные миски с красной икрой, багряные раки – только что из кипятка, убитая дичь с безвольными шейками, полуочищенные лимоны, румяные яблоки и много других дефицитных продуктов. Ни о чём, кроме вин, коллекционер думать и говорить не мог, уж тем более о женитьбе. Он был «женат» на хмельных своих грёзах, а я ему нужна была для экскурсий по его экзотической галерее и как бы для совместного – виртуального – питья.

### Юка

Все женихи, которых находила мне Гера, были один смешнее другого. Может, потому, что я и сама, в общем-то, смешной и нелепый человек, так что неча на Геру пенять. Но одного «жениха» она мне всё же выбрала удачно: мы его зовём Юка – по инициалам Ю. К. Юка – в душе поэт, рассказывает в красках о закатах на лесных озёрах Алтая, куда ездит на рыбалку (рыбу потом раздаст соседям), сидит один у костра. Признаётся, что в эти сокровенные ночи мысленно раз-

говаривает со мной, поёт мне песни, читает наизусть любимых поэтов, среди которых несколько пишущих священников. Выйдя на пенсию, Юка воцерквился. Общаться Юке не с кем: никто из его боевых друзей книг не читает и стихи не любит, а мы с ним подолгу говорим по телефону как раз о книгах и поэзии. Юка работал вместе с Герой в уголовке Алтайского края; Юка, как сыскарь, ходил на самые опасные операции; Юка, защищая честь дамы, вызвал на дуэль соперника, дрался с ним на табельных пистолетах, подстрелили друг друга, получили по выговору на службе, но честь дамы была восстановлена. Как оказалось, зря – она переметнулась к третьему кавалеру, из областной прокуратуры. Но Юка всё равно герой, и, несомненно, вызвал у меня интерес. Семейные отношения у нас не сложились, но зато возникло более притягательное чувство – «влюблённая дружба». Она длится уже много лет, и мы радуемся той чудесной, поэтической дымке, что окружает наше общение и украшает жизнь на её закате. Без этой дымки человек задыхается и быстро угасает, в каком бы возрасте он ни был.

Звонишь по вечерам, издалека, и голос твой волнуется слегка, хоть вроде ничего не происходит, и о любви не говорится вроде. Но сквозь туман словесный иногда, забыв про наши лишние года, так явно проступают очертанья того, что в сердце созревает тайно, а как назвать? – Названье сам найди...

### Большая охота на мужчин

Когда-то наши с Герой дачи были рядом, и, оторвавшись от грядок, растерев спины, мы садились под яблоню, пили чай или изготовленное Герой вино и болтали о любви. Часто мне приходилось придумывать «романы», чтобы не огорчать Геру отсутствием свежих любовных историй. Думаю, она не дополучила любви, и сама не долюбила, хотя с мужчинами всегда легко знакомится – везде и всюду: даже под капельницей, даже в Собесе, но флиртует только на словах.

И непременно шутит:

– Вот вчера в аптеке сблизилась с одним молодым человеком – ему лет семьдесят, не больше. Разговорились, и он тут же стал приглашать к себе домой: мол, хомячков покажу – ужасно жручие! Но я ведь блюду девичью честь, и потому отказалась. Тогда он назначил мне свидание в парке. Ну, я примчалась, иду. Он уж сидит на скамейке, с цветами, ждёт. Увидел меня – и вдруг сорвался и побежал. Может, клещ его укусил, думаю? Я – за ним, он – от меня, я – за ним, он – от меня! «*Гарун бежал быстрее лани...*» Тут я стала выдыхаться, а он и обрадовался: прибавил скорость да за угол и шмыгнул. Ну и чёрт с тобой: катись колбаской по Малой Спасской! Пришла домой, глянула в зеркало – и всё поняла: кофта на мне, а юбку надеть забыла: стою в одних колготках. Как только в психушку нас не забрали? Две «Скорых» мимо промчались, но мы бежали быстрее.

А всё дело в том, что у Геры сто двадцать кофточек. Пока все перемерит, о юбке забудет. Это уже не первый случай.

Вздыхает:

– Уже пора землёй натираться, чтобы привыкать, а я всё кофточки покупаю... Ну и как тут умирать? А кофточки? Нет, пока все не переносу, даже не заманивайте меня на тот свет!

А тут ещё и берет себе сшила – из сапога-чулка. Были такие сапоги – в обтяжку – у модниц 70-х годов – из лакированной искусственной кожи: зимой они

намертво примерзали к ногам. Гера достала эти древние сапоги из кладовки и смастерила себе берет.

Снова крутится у зеркала:

– Красота! Я готова к большой охоте на мужчин, да только где они, настоящие мужчины? Одно название! Да вот недавно случай был, у моей знакомой, у Милки. Да вы её знаете: это та Милка, которая училась на биофаке с Инюшиным – чудачком, что ставит на городских перекрёстках пирамидки – отпугивать чёрную энергию; Милка, которая упала вместе с самолётом и выжила – одна из всех пассажиров. Её уж в морг потащили, а она давай сопротивляться, кричать – всех перепугала. Есть у неё на даче псица Найда. Злющая! Милка решила: злится Найда без любви, надо ей жениха. А сидела псица у Милки в большой железной клетке, чтоб не загрызла никого. Нашла она ей жениха – у соседки. Звали жениха Тарзан. Здоровущий такой зверина! И вот запустили его в клетку к Найде, а сами с соседкой сели чай пить. Не успели по глотку сделать – слышат: воет Найда, воет-надрывается, будто война началась. Побежали к клетке. И что вы думаете? Буквально за пять минут Тарзан прорыл под клеткой лаз и бежал, не притронувшись к девушке. Вот вам и нынешние мужчины! Милка оскорбилась за Найду и соседку прогнала. Враги теперь!

На этом я, пожалуй, закончу рассказ о женихах, потому что лучшей точки не придумать.

### Бестолковые мемуары

Это Гера сподвигла меня написать книгу о любви. Я и села за такую книгу, но потом повело меня совсем в другую сторону. Гера тоже пописывает: и стихи, и житейскую прозу. Рассказы её даже как-то напечатали московские журналы «Крестьянка» и «Работница», и в «Просторе» у нас – с моей подачи! – были опубликованы две её рукописи: «Отец Александр» и «Чистосердечное признание следователя». Это великое литературное событие мы с Герой отметили заковыристым ликёром «Amerette», который Гера купила где-то по дешёвке. Чудом остались живы, но запомнили палёного «итальянца» надолго, и даже смеялись потом, выясняя, кто из нас Моцарт, кто Сальери?

Так вот, Гера сподвигла меня написать книгу о любви, была и первой читательницей чернового варианта, и осталась недовольна:

– И это роман о любви? Скажу вам, как профессионал профессионалу: это не роман о любви, а бессовестная отмазка! Где откровенные любовные сцены? Такое никто не будет читать! Если уж вышли на лобное место, то подставляйте свою прелестную головку под топор: пишите всё как есть, а не поджимая стыдливо лапки, не обходя горячие моменты. Заберите этот розовый сироп! Можете отнести его в какой-нибудь пансион благородных девиц!

Что ж, бывалая «грешница» Гера права: не могу я писать с «откровенными постельными сценами», как пишут нынешние создатели эротических поделок. Раньше был социализм – теперь сексоализм. Хотя – что увёртываться? – сцены были, и весьма пикантные, отчего до сих пор жарко и стыдно, и за них я буду держать ответ на Страшном Суде. А рассказывать честному народу? И так наговорила много лишнего. Нет, перо не слушается, язык каменеет, душа противится. Мне и читать-то подобные сцены теперь неприятно, не то что самой писать. Да и зачем? Разве любовь заключается только в эросе? Эрос меня интересует меньше

всего. Гораздо важнее – преодоление в себе первородного греха, о чём тоже нелегко писать, потому и прикрываюсь юмором, потому и получаются «весёлые» (а может быть, «бестолковые»!) мемуары вместо любовного романа.

## Женщина-вамп

У Геры на дачах была репутация женщины-вамп.

– Да я уж не вамп и не намп! – отшучивалась Гера, но престарелые дачные жёны её опасались, не пускали своих мужей к ней в сад-огород.

Да и как не опасаться? Пришёл к ней электрик, чтоб с поличным поймать – она ставила «жучки» на электросчётчик, а у неё на бриджах возьми да лопни резинка. Бриджи свалились, а тут ещё начали взрываться надутые перчатки – привет Горбачёву! – на бутылках с ягодным вином. Электрик и бежал с поля боя!

Ревновали к ней и жёны её бывшего мужа Селявки – он приходил к Гере, жаловался на очередную жену:

– Мальчик мой! – он Геру так звал. – Мальчик мой, я повешусь! Она не хочет со мной спать.

Гера утешала экс-муженька, кормила крошкой – это её коронное блюдо! – звонила несознательной жене и, угрожая Уголовным кодексом, требовала не обижать Селявку. Иногда приходилось ей надевать мундир майора милиции и идти к Селявке на дом, укрощать на месте несговорчивую жену.

У неё до сих пор висит в прихожей этот милицкий китель, и когда в квартиру проникают лохотронщики или воришки, то, видя китель, должны тут же ретироваться, и они ретируются, но сначала облапошат Геру, которая доверчива как дитя: всем открывает дверь и душу, во всех влюбляется и охотно роднится. Мошенники даже обнимутся с ней, как с родной матерью, даже пообещают всё время теперь приходить к ней в гости, даже подарят в порыве восторга какую-нибудь авторучку или карамельного петушка на палочке, а потом ограбят. Однажды украли у неё все сбережения и снова – с радостной улыбкой, с объятиями, яблоками угостили. Как только она, такая доверчивая и простодырая, работала следователем? Ума не приложу! Горевала о краже недолго, успокоив себя тем, что теперь-то вот и узнает: на самом ли деле любят её сын и внук, или за доллары? Она же копила, чтобы им по машине купить.

Сын и внук мужественно сказали:

– Да ладно тебе! Бог с ними, с этими долларами. А машины мы себе сами купим! Не копи больше, лучше на себя трать!

– На себя скучно... Как я вас люблю! А люди эти, что деньги взяли, такие всё же хорошие, ласковые... Может, у них крайняя нужда – на грани жизни и смерти? Может, им деньги нужнее, чем нам? Попросили бы, я бы и сама дала, но, может, они постеснялись, теперь переживают...

Ещё бы! Переживают, что не забрали и последние сто тенге, оставленные старухе на хлеб. Ходила по улицам, всматриваясь в лица: надеялась их встретить и пожалеть...

Звонит мне:

– Умираю!

Мчусь к ней – она лежит в кителе, стонет:

– Как помру, так и положите в гроб, в погонах...

– Вы думаете, это отпугнёт чертей?

– Может, и не отпугнёт, а в звании повысят – там ведь все свои... Как вы думаете, если есть Райсобес, то ведь должен быть и Адсобес? Живу назло Собесу – чтобы пенсию не отдавать...

На другой день – она уже весела, бодра:

– А я только что пять километров пешком протопала вокруг Сайрана. Хорошо так! Приходите, коньячку дерябнем, а то не с кем.

– Спасибочки! «Amerette» я с вами уже попила!

В Клубе ветеранов, где она солирует, Гера предложила:

– Давайте разделимся по интересам: кто хочет говорить о похоронах – идите к Петру Ивановичу, он подрабатывает в Бюро ритуальных услуг. А кто хочет говорить о любви – ко мне.

И все, включая Петра Ивановича, двинулись к ней. Пели в хоре, танцевали, играли в спектаклях – сценарии Гера писала сама, и все, конечно, про любовь. Пётр Иванович стал заигрывать с Герой.

Звонит она мне, возбуждённая:

– Надежда, Пётр Иванович подарил мне кило селёдки! Как думаете, что бы это могло значить?

– Это любовь, Гера Захаровна!

– Он ещё зовёт на свидание. Что делать?

– Ну, на всякий случай возьмите ночнушку и шею помойте.

Эротическую, в кружевах, ночнушку она купила, а на свидание не пошла, чем ещё сильнее раззадорила Петра Ивановича. Следующий его шаг был решительным – он подарил ей ведро навоза. Это был царский подарок! Навоз для дачников – драгоценность, он дороже бриллиантов. И вот Гера, запихав навоз в огромный рюкзак, стала втискиваться в переполненный дачный автобус. Автобус опустел мгновенно, и Гера поехала с комфортом. Но даже и навоз не склонил Геру к адюльтеру с ветераном похоронных дел. Занялась им другая ветеранша – Фирочка. Многолетняя, в завитом парике. На все мероприятия приходила она с собачкой и в перерывах между спектаклями и спевками говорила о проблемах пищеварения: и у неё, и у собачки были запоры – из-за пристрастия к жирной сметане. Муж Фирочки пал жертвой этой сметаны, и теперь неутешная вдова искала ему замену. И как плотоядного кота, Петра Ивановича сманила-таки Фирочкина сметана. Гера была оскорблена!

Но я-то знаю, что Гера только внешне играет в страсти, и меня к тому же призывает, писать заставляет о постельных сценах, а на самом деле – стыдлива, как девушка, и любит одного-единственного: Мишу Правдина, с которым разлучила её Мишина ранняя смерть. Давно это было, а Гера всё хранит ему верность, всё тоскует по нему, всё глядит на его фотокарточку, которую прячет под подушку, когда ложится спать: может, Миша приснится? Днём флиртует со всеми подряд, а ночью остаётся только с ним...

## Тайная Маргарита

Она была Маргарита, а он Мастер – как в романе Булгакова. Имени Мастера я не стану называть, чтобы не огорчать его семью, скажу только, что был он известным художником, а она – просто Маргаритой. Об их романе поведала мне

моя подруга Лара Драгомощенко. Но сначала о Ларе, потому что она – для меня! – гораздо более интересная фигура.

Лара – физик-ядерщик, работала в нашем Институте ядерной физики, потом её пригласили в Москву, в одно закрытое учреждение, где разрабатывается оружие нового поколения, но часто приезжает Лара в Алма-Ату, по которой скучает, ведь здесь прошли её детство и часть юности. Кроме науки, есть у Лары ещё один редкий дар: дар дружбы. И если Ларка заводит с кем-нибудь дружбу, то дружит потом всю жизнь. Когда-то училась она в одном классе с моим первым мужем Олегом, который обзывал её Дрыгой. В детстве их дружба часто кончалась тем, что Олег загонял Дрыгу под кровать и она там сидела в заложницах у него, пока не давала выкуп конфетами. Потом повзрослели. Олег увлѣк Ларку литературой, и она до сих пор знает уйму стихов наизусть, и много читает, даже меня. Теперь Олега нет, так она продолжает дружбу со мной. Заболев в детстве полиомиелитом, Лара стала хромать и всю жизнь борется со своим недугом, то вставая на костыли или даже оказываясь в инвалидном кресле, и врачи ставят на ней крест, то невероятным усилием воли встаёт из кресла, отбрасывает костыли и продолжает жить активной жизнью. Ходит в походы: например, участвовала в пешей экскурсии по острову Валаам, сплавлялась по горным рекам Алтая; скачет на коне, путешествует по свету автостопом. Это шальной, героический человек!

Была у неё сестра, которая тоже переболела полиомиелитом, стала горбуньей. И вот поплыла она с сотрудниками своей научной лаборатории на лодке по горному озеру. Молодые все! Веселились, хохотали и перевернули лодку. Парни выплыли, а сестра Лары утонула. Не успели пережить это потрясение – отец Лары погиб в авиакатастрофе. Мать её, Клавдия Михайловна, надорвав сердце горем, долго умирала, и Лара сама ухаживала за ней, а что такое ухаживать за лежащим человеком, я знаю. Не дай Бог никому! Да если ещё сама на костылях. Испытаний хватало, но Лара никого не обременяет своими бедами. Она всегда жизнерадостна, остроумна, модно одета и даже слегка кокетлива: показывала мне любовные записочки от мускулистых массажистов, которые делали ей лечебный массаж в санаториях Академии наук, и мало кто знает, в каких страданиях и преодолениях физической немощи проходит её жизнь. А внешне – неизменно весела и удачлива в карьере! На мои вопросы, как называется то, что Лара изобретает в своём закрытом учреждении, выполняя заказы военной промышленности, Лара всегда хитро улыбается: «Называется “изделие!”»

И шутя по поводу записочек от массажистов, говорит:

– Думали: расслаблѣсь от массажа и выдам им секрет, что это за «изделия!»

– А массажистам-то нафиг твои секреты?

– Не скажи! Они ведь китайцы, а все китайцы охотятся за секретами. Представляешь? Не успела оглянуться, как они уже спѣрли фасон моей американской куртки, вместе с курткой! Потом куртку, правда, вернули. А так, ну очень ласковые ребята, очень! Я прямо таяла под их руками...

Сейчас Ларе уже за восемьдесят, а она всё ещё работает, её не отпускают на пенсию: у неё гениальная голова! Так вот именно Лара познакомила и меня, и всю семью Новожиловых с Маргаритой. То и дело говорили: «Рита приглашает на выставку!», «Надо у Риты спросить насчёт этого художника!», «У Риты сумасшедший роман!», а с кем – Ларка молчит, только делает загадочные и озорные глазки. Потом Лара мне всё-таки рассказала по секрету об этом «сумасшедшем романе» Маргариты – с Мастером.



Маргарита работала в галерее им. Кастеева, и, говорят, отличный искусствовед. Когда Лара приезжает в Алма-Ату на каникулы, то живёт обычно либо у своей подруги Анечки в посёлке ИЯФа, где целый месяц они сидят на арбузной диете, либо у Маргариты, и тогда они сушат у неё под столом баклажаны на зиму. У Лары тьма оздоровительных блюд! Кстати, в ИЯФе я ходила с Ларой по её знакомым, и в одном доме физик-ядерщик показал нам мини-реактор. На досуге он проводил в нём разные опыты в домашних условиях. Слава Богу, мы быстро покинули ИЯФ.

Впервые увидела я Маргариту, когда той уже было за сорок: блеклая, вялая тётка, одетая старомодно и скромно, с камеей у горла глухой блузки. Молчунья. Но, видимо, из тех тихонь, в душе которых черти водятся. Я была удивлена: как Мастер мог в неё влюбиться? У него была жена – яркая восточная красавица. С нею он однажды пришёл в Кастеевскую галерею на какую-то выставку и увидел Маргариту. Рядом с его женой Маргарита выглядела серой мышкой, но зато, задохнувшись от счастья, что видит Мастера, напоила художника чаем с пирогами собственного изготовления. И каждый раз, когда он приходил на выставки, чем-нибудь угощала: то домашними котлетами, то курицей под ореховым соусом, то «Шарлоткой». Мастер и влюбился. Я бы тоже влюбилась – с такими-то кушаньями!

В тёмной однокомнатной квартирке Маргариты целая коллекция редких картин, которые подарены ей художниками, в том числе и Мастером. Она, меняя их, вывешивает на стены. А так – они хранятся у неё за шкафом и на шкафу. Не лучшая, конечно, обстановка для картин, но больше нигде. Жильё зверски отапливается даже летом, так как под полом проходят трубы отопления (это первый этаж), и в летний зной там невыносимо жарко. Когда я однажды пришла к Маргарите навестить Лару, то и Ларка, и сама Маргарита ходили в нижнем белье, пришлось и мне раздеться, иначе бы сгорела.

На молодых фото Маргарита миловидна, но холодной миловидностью немोक (она немка), либо тургеневских девушек, в то время как жена Мастера прекрасна знойной, яркой, восточной красотой, полной страсти. Возможно, Мастера утомляла эта яркость и он устремлялся к блёклым цветам: он родился на Севере, в Архангельске, среди чёрно-белых пейзажей, и сам писал такие же полотна. Кроме того, восточная красавица не любила заниматься бытом, всё время ездила в какие-то командировки, и Мастер скучал, а у Маргариты находил он домашний уют, ласку, тишину, его готовы были выслушать, вкусно накормить, восхищались его талантом и ничего не требовали взамен. Была у Мастера тайная Маргарита, которая так и не вышла замуж, храня верность своему Мастеру. Когда он умер, Маргарита надела траур и никогда его не снимала.

Лара рассказывала мне об этом романе с горящими глазами – она любит чужие романы, а вот о себе молчит, но я знаю, что и у неё есть человек. Сослуживец, на пятнадцать лет её моложе. Женатый. Он никогда не оставлял её в разных бедах, всегда рядом был, и теперь рядом, помогая ей выживать: картошку приносит, чинит бытовую технику, провожает и встречает на вокзале, когда она отправляется в очередное авантюрное путешествие, звонит ей без конца: как она там, в этом походе? Вызывает врача, если она заболевает, и сидит с ней, пока не выздоровеет, кормит с ложечки, поит горячим молоком, веселит байками. Он всегда рядом. Жена его знает об этом, но никогда не устраивала скандалов. Да ведь Лара сразу с ней объяснилась

и наотрез отказалась уводить мужика из семьи, хоть он и порывался в молодые годы насовсем сбежать к Ларе, но в семье у него были дети, и Лара оставила им отца. Так и живут. Жена смирилась. Потом и она, и повзрослевшие дети тоже стали помогать Ларе. «Они моя семья!» – говорит Лара, привозит им подарки из своих путешествий, всех любит, но его – особенно: как встретятся, в глазах у них стоят слёзы восторга и нежности. Вот такая ещё бывает любовь. Скажете, тут нет романтики? Но я-то вижу этот трепет, эту бесконечную тревогу за любимого человека, а такое выше всякой словесной романтики. Это, наверно, и есть настоящая любовь.

### Ученица Репина

Дружила я и с Марией Сергеевной Лизогуб, когда та была уже в преклонных летах. Она художница, которую в детстве обучал Репин, а сама родом с Украины, из знаменитого рода Гоголей-Яновских.

– Здесь я забываю шесть языков... – вздыхала Мария Сергеевна.

Рассказывала, как ездила в степь писать с натуры летние пейзажи, а с ней – казахские поэты – вдохновляться. Таир Жароков немного ухаживал за ней, дарил полевые цветы. Заехали в аул Джамбула. Ночевали там.

Переводчик акына, Павел Кузнецов, выпив с утра, весело сообщал гостям:

– Всё, я дальше пас! Мне пора писать стихи Джамбула! – и удалялся писать, а Джамбул продолжал петь за дастарханом и никуда не торопился.

Вообще-то, «переводы» Павла Кузнецова не имели ничего общего с творчеством акына. По большей части, это были собственные сочинения опального журналиста. Настоящие переводы делал Алтайский, а записывал настоящие песни Джамбула Таир Жароков.

К Марии Сергеевне заходила на чаёк соседка-скульптор, грубоватая, похожая на мужика, по имени Лия. Она материла самыми последними словами и художников, и коммунальные службы их дома, и страну в целом. К чаю приносила обычно кусок сливочного масла, остатки которого потом аккуратно заворачивала в пергамент и уносила назад. Подозреваю, что это был один и тот же кусок. Мария Сергеевна никогда не жаловалась, но признавалась, что старость – это единоборство с бытом: у неё то и дело ломались краны в ванной, лопались трубы, перегорал свет (то же самое теперь происходит у меня), но она смиренно относилась к этим бытовым катаклизмам и ждала, что они, может быть, как-нибудь сами пройдут. Они и проходили – с помощью соседей или друзей-доброхотов. Пару раз мой муж Игорь чинил ей бытовую технику.

Смиренно слушала Лизогуб и гостью-скульптора, не спорила, вздыхала только:

– Лиечка, что же вы так волнуетесь? Вам же нельзя с вашим сердцем. Давайте я лучше зажгу сандаловые свечи – они успокаивают. Я их из Индии привезла. Какая это волшебная страна!

И люди, и всё вокруг было для Марии Сергеевны волшебным. Она и сама была волшебной: наряжалась в испанский наряд, который купила в Гранаде. Стуча кастаньетами, изображала огненный, страстный танец Кармен. Мы с Мирабо аплодировали. На картине известного казахстанского художника Черкасского Мария Лизогуб как раз изображена танцующей испанкой. Большая эта картина стояла у стены, будто волшебное зеркало, в котором отражалась Мария Лизогуб, ставшая вновь молодой – в красных юбках, с чёрным веером и пунцовой розой в причёске.

## Дегустатор из Одессы

Прекрасный прозаик Морис Давыдович Симашко был необычайно остроумным человеком – с истинно одесским юмором, ведь жил когда-то в Одессе. Его отец-биолог одно время служил дегустатором в этом весёлом городе. Иногда брал работу на дом, и Морис тоже пристрастился к дегустации. Пил с любимой суворовской присказкой: «Пуля – дура, штык – молодец!», но пьяницей не был и не терял таланта и ума. Ликом он был похож на Гильгамеша со старинных фресок. Хорошо знал древний Восток, писал о нём свои увлекательные книги, некоторые из них изданы в Польше и во Франции. Я люблю его «Повести красных и чёрных песков» – с них и началось моё настоящее знакомство с Морисом Давыдовичем. Со студенческих лет дружила я с его дочерью Римкой, встречалась с Морисом Давыдовичем в домашней обстановке, ела фирменный туркменский плов с кориандром, который отлично готовила Римка. Как часто бывает в таких случаях, я не отдавала себе отчёта, что отец Римки, который ходил по дому в бриджах с пузырями на колёнках, небритый, брюзга – большой писатель. И вот когда мне в руки попала его книга «Повести красных и чёрных песков» – я пережила потрясение! Книга была написана таким ярким пером художника, что ослепила меня: я чувствовала запах пряного емшана, прокалённой на солнце глины старых парфянских руин, пыль под ногами кочевых караванов. Жгучий стыд окатил меня: «Господи! А я ведь с Морисом Давыдовичем за панибрата, чуть ли не по плечу его хлопала! Какой позор!» С тех пор я испытывала к Симашко только чувство восхищения. Все книги его прочитала, а некоторые рукописи даже редактировала в «Просторе».

Надо сказать, автор он был не из лёгких: спорил, упрямылся, но меня не особо мучил. Напротив, когда наступал день редактуры – а день этот был всегда торжественным, потому что мы приступали к священнодействию! – Морис Давыдович надевал элегантный костюм, купленный в Париже, со значком Эйфелевой башни на лацкане, сбрызгивался хорошим парфюмом и непременно приносил мне кулёк дорогих конфет, после чего мы с ним мирно расставляли запятые в его рукописи, и, довольные друг другом, отдавали наш труд заводделом прозы в журнале Юрию Михайловичу Герту. Он был последней инстанцией! Герт отличался такой вездливостью, что находил стилистические ошибки даже у Льва Толстого. И однажды, ради поучения нам, рядовым редакторам, выправил толстовскую повесть «Хаджи-Мурат». Правка его самого удивила: текст умер, хотя теперь все предложения были составлены правильно. И вот Герт стал читать отредактированную мной рукопись Симашко и указывать на пропущенные погрешности, а Симашко стал упираться и ни за что не хотел ничего исправлять. Это были, как говорится, только «предварительные ласки». Дальше – больше. Спорили несколько часов, сцепившись рогами, как олени на гоне. Первым не выдержал Герт – его крупный нос налился багрянцем гнева, Герт подбросил рукопись вверх – и она рассыпалась по всему кабинету, Герт послал Мориса на «хэ». Мы онемели: тишайший, интеллигентнейший Герт никогда не употреблял ненормативную лексику. Мы даже думали, что он и слов-то таких не знает, а тут – лихо отправил Симашко в эротическое путешествие из трёх букв.

Морис вначале онемел, как и мы, но опомнился быстро:

– На «хэ» меня посылаешь? Так я там уже был и благополучно вернулся! Но вообще-то, ты прав! Так бы сразу и сказал: «Иди на «хэ!»», а то мямлишь, мямлишь тут... Я всё понял и со всем согласен!

Я люблю ещё его устные рассказы и смешные байки о Туркмении, где он работал корреспондентом в молодые годы и где заразился темой Востока, да настолько, что говорили: «Он древность знает лучше, чем современность, будто жил там!» Вместе с семьёй пережил Морис страшное землетрясение 1948 года, которое стёрло с лица земли Ашхабад. Он исколесил всю республику – от Каспийского моря до огненной Кушки. Трудно выбрать какую-то из его баек, чтобы поприличней – они все слегка скабрёзные, но всё же одну рискну привести. Не разбор же романов мне делать!

В Ашхабаде редактором главной газеты, где работал Морис, был странный человек. Сначала-то он не был странным и брошен был на газетное дело, как крепкий партиец, чтобы поднять уровень местной прессы. И он поднял! Но, видно, поднимая, всё же надорвался. Тогда по Средней Азии курсировали красные вагоны агитпоезда. В один прекрасный день посадили в эти вагоны иностранных журналистов, чтобы показать им небывалый расцвет советского Востока, и привезли в Ашхабад – в сопровождении партийных деятелей и людей в штатском, доставили в лучшую столичную гостиницу, где их должен был встречать их коллега, редактор центральной газеты Туркмении. И он их встретил! Он спустился со второго этажа по лестнице – на четвереньках, совершенно голый, и причиндалы его грозно раскачивались, как маятник Фуко, на шее у редактора красовалась чёрная бабочка, а на голове – цилиндр, в зубах чадила сигара. Видно, так флагман советской прессы хотел послать наш ответ Чемберлену и всему мировому империализму. Оказалось, редактор этот ночью сошёл с ума, но никто об этом не знал. Вопревшие от жары, от хлопковых полей в пустыне, от тракторов и комсомолок журналисты развеселились, оживлённо зашумели, защёлкали фотоаппаратами. Дюжие ребята подхватили спятившего редактора под руки и унесли. Никто его с тех пор больше не видел.

### Спор о Пушкине

Однажды, живя по соседству с Морисом Давыдовычем в алма-атинском Доме творчества, я застала его горько плачущим. Кинулась к нему – думала, может, умер кто?

– Что случилось? Что?

Оказывается, у него возник спор о Пушкине с одной молодой прозоэссой, которая жила в соседнем номере. Морис доказывал ей, что Пушкин – из дома Давидова: Давид был поэтом, и сын его Соломон был поэтом, потому естественно, что и Пушкин родился гениальным поэтом. Но прозоэсса гневно опровергала все доводы писателя и требовала, чтобы он показал справку с печатью, где указано, что Пушкин – еврей и что предок его – библейский царь Давид. А потом стала и Пушкина поносить – за то, что был западником. Так разбушевалась – хлопнула Мориса по голове томиком «Евгения Онегина», чем оскорбила смертельно. Вот Морис и плакал, обнимая поруганный томик поэта.

Симашко писал тогда исторический роман о XIX веке, бредил Пушкиным и хотел, чтобы Пушкин был ему родней не только по литературе, но ещё и по крови. Многие хотели – и хотят!

– Ну хоть ты-то любишь Пушкина? – вопрошал он меня, всхлипывая.

– Люблю! И Пушкина люблю, и вас, Морис Давыдович!

– И меня?! – он мигом перестал плакать, приосанился: – Тогда давай изменим твоему мужу!

– Нет, Морис Давыдович! Сначала мужу, потом родине? Ни за что!

Диалог этот был, конечно же, шуточный, и закончился совместным чтением пушкинской поэмы под коньячок. А у прозоэссы Морис Давыдович был потом свидетелем на свадьбе – пятой по счёту.

## На Земле Обетованной

Я знаю историю его романтической любви. Во время войны он летал на боевом самолёте, а был влюблён в одну девушку, которая жила в городке рядом с линией фронта. И однажды, потерявший от любви голову, Морис нарушил военный Устав и полетел к ней, после чего загремел в штрафбат. Но он её увидел! Молодой в 90-е годы Шахимарден Кусаинов под впечатлением от этой романтической истории сочинил рассказ, а сам Морис написал повесть «Гу-Га». С такими криками: «Гу-га, гу-га, гу-га!» штрафники шли в смертельный бой, приводя в ужас врага. Летал ли Симашко на боевом самолёте, был ли на самом деле в штрафбате или придумал всё – неважно: повесть получилась пронзительной и правдивой. По этой повести снят фильм. Экранизирована и другая повесть Симашко – «Емшан» («Джувльбарс»). Фильм этот стал классикой казахстанского кино. Морис Давыдович – лауреат Государственной премии им. Абая. Он был обласкан Казахстаном. И всё же – на старости лет стал тосковать по родине своего отца, своих предков Шамисов (Симашко – это псевдоним Мориса, это перевёртыш его фамилии) и уехал в Израиль, вслед за детьми. Сразу же, едва ступил Морис на Землю Обетованную, встретил его большой плакат: «Евреи, помните, что здесь все евреи!»), то есть не надейтесь, что к вам будет особое отношение. Но на родине его не признали евреем, и детей не признали, потому что мать Мориса немка, а жена – мордовка. К тому же Морис не знал никакого больше языка, кроме русского и украинского (одесского) и не мог общаться с ортодоксальными евреями, и вообще обнаружил, что он всё-таки никакой не еврей, а человек славянской культуры. Стал тосковать. Бросил писать. Всё глядел на белую дорогу из своего окна. Радовался любому гостю из России. Однажды посетил его давний друг, поэт и морской офицер Марк Кабаков (он жил в Москве). В войну водил Марк Северные конвои, обходя подводные мины и уврачиваясь от вражеской авиации. Марк и в Алма-Ату часто приезжал. Непременно надевал морскую форму с кортиком на боку. Маленького роста, неказистый, в этом облачении он был неотразим! Все женщины глядели на него с восхищением.

Помню один анекдотичный случай. Группа писателей, в числе которых были: Морис, Марк, Руфь Тамарина, Виктор Бадиков и я, выступали в Обществе книголюбов. Бойкая организаторша этой встречи, с накладной «халой» на голове, решила представить нас как-то посолиднее, чтобы придать весу и нам, и себе: мол, таких великих людей пригласила! Имеющиеся у нас в наличии заслуги её, видимо, не устраивали.

Виктор Бадиков тогда занимался изучением творчества Юрия Олеши, давным-давно почившего, но книги его народ читал, особенно были популярны «Три Толстяка», и организаторша объявила Бадикова так:

– Перед вами выступит советский классик Юрий Олеша с тремя толстяками!

Витька чуть со стула не упал. Дальше – больше.

– А это Руфь Тамарина – герой Сталинградской битвы!

Бедная Руфь! Она недолго повоевала фронтовой медсестрой на Курском направлении, потому что спешно была отправлена в тыл – рожать.

Как представить меня, организаторша затруднялась: я не была похожа на героя Сталинградской битвы, не тянула и на советского классика.

И немного поколебавшись, организаторша сказала просто:

– Надежда Чернова – поэт и мать!

Дошла очередь до Мориса с Марком. Они были оставлены напоследок как самое лакомое блюдо.

Марка она не знала, а о Морисе слышала, что он недавно издал книгу в Париже, в издательстве «Галимар», и это логически подвело организаторшу к следующему объявлению:

– Представляю вам Марка Кабакова – переводчика французского писателя Мориса Симашко!

Если Марк и переводил Симашко, то разве что через дорогу, когда Мориса штормило от дегустаций. Большую часть своего выступления мои товарищи оправдывались и отрекались от неожиданных званий, выданных организаторшей. Одна я была довольна: про меня всё правда!

И вот приехал Марк к Морису в Израиль. Шли они по Земле Обетованной, шумно жестикулируя и перебивая друг друга. Не зря говорят: стоит встретиться двум евреям – немедленно начинается восточный базар, а тут ещё не выветрился хмель от обильной ночной дегустации, дегустировали и на прогулке. Посреди весёлой беседы Морис внезапно упал и умер. Похоронили его, как русского, на русском кладбище. Евреи не приняли его и на тот свет. Но меня утешает, что ушёл он без страданий и в весёлом расположении духа. Это ли не благодать Божья!

## ЖИЗНЬ С ПУШКИНЫМ

Да, *«иных уж нет, а те – далече...»* Прошли ещё годы. Теперь они проходят быстрее, чем в юности. Вчера ещё была молодой, с лёгкой походкой, а нынче... Выбираю зеркала, которые льстят мне, но есть такие стёкла, которые при любом освещении говорят беспощадную правду. Кто их только делает? Да что зеркала! Племя младое, незнакомое спрашивает:

– А вы помните войну с Наполеоном?

– Ещё бы не помнить! И нашествие Чингизхана помню, и Пунические войны!

– А Пушкина видели?

– И теперь вижу.

Да, я вижу его: он в душе моей, и в мыслях, и на языке. Он рядом, но в то же время – это заповедная Вселенная, куда нет хода никому, хотя двери туда открыты, и на пороге стоит смеющийся поэт – смуглый, голубоглазый, с рыжеватыми вьющимися волосами. Он замер на мгновение, а потом вскочит на крылатого коня и помчится по белу свету – только облака закрубятся, только звёзды искрами полетят из-под копыт: *«Давно, усталый раб, / Замыслил я побег...»* Туда, туда – в Михайловское, в Болдино! Мне кажется, он и в небесную обитель взял свои поэтические родины – Болдино и Михайловское: с липовыми рощами, озёрами, лесами, с волшебным дубом, на ветвях которого сидит русалка – её туда загнал по-мальчишески озорной и весёлый поэт, а под дубом ходит кот учёный,

облизываясь на рыбий запах русалки. Многие литературоведы ломали голову, зачем русалка у Пушкина на дереве сидит, ведь место её обитания вода? Антинаука как-то получается. А вот и нет! Посадил, чтоб не соблазняла честной народ! Пусть посидит, подумает о своём поведении. Женские чары всю жизнь мучили и восторгали Пушкина, но в конце пути он запросил покоя.

«*О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню? Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь. Религия, смерть...*», – так мечтал Пушкин и эти строки – приписка к стихотворению «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», – были своего рода программой его жизни, начертанной ещё в пору Болдинской осени, но особенно остро волновавшей его в конце пути. Душа его была готова к смирению и покорности воле Божией. Программа эта осуществилась, но была раскручена рукой Провидения с конца: религия, смерть, деревня, семья, любовь...

«*Религия, смерть...*» В юности переболев «афеизмом», к зрелым годам Пушкин стал думать о Боге: его сердце жаждало молитвенного уединения. Поэт хотел удалиться в Михайловское из суетного, жестокого Петербурга, а вышел на дуэль у Чёрной речки, был смертельно ранен. Был убит.

«*Поля, сад, крестьяне, книги...*» Поэт похоронен в родовой деревне, его туда привезли ночью, по зимней дороге, в санях, укрытого рогожей, как преступника. Последний приют его окружён полями, садом, крестьянскими дворами. В деревенском доме поэта остались книги, которые помнили прикосновение его пальцев, его восхищённые восклицания, его молчаливые размышления над страницами вечных творений.

«*Семья, любовь...*» Вскоре после гибели Пушкина в Михайловское переехала и его семья. Уж как упиралась Натали, как не хотела ехать в деревню, хотя Пушкин уговаривал её незадолго до дуэли. Он устал от светских интриг, от нужды, от грязных пасквилей. Натали наотрез отказалась ехать: а как же балы? Как же внимание самого императора, с которым она танцевала? Как же звание первой красавицы Петербурга? Да и государь не отпускал Пушкина в деревню: во-первых, государь волочился за Натали, государь хотел видеть её рядом; во-вторых, дав поэту унижительный чин камер-юнкера, он хотел держать его при себе, под своим надзором, и, может быть, окончательно сломать. В то время Пушкин переживал и творческий, и финансовый кризис. Это был упавший лев, которого бросились терзать и придворные стервятники, и шакалы пустого, скучающего света. Пушкин надеялся, что за дуэлью последует ссылка, он уедет, наконец, в деревню, потому что к тому времени дуэли были запрещены и карались законом: после поединка Дантес был выслан из России, а Пушкин – на погост Святогорского монастыря. Пушкин хотел в деревню, но он не планировал погибать. Натали бежала в Михайловское после смерти мужа, спасаясь от того же: светских интриг, сплетен, нужды, людской злобы. Она искала покоя и утешения тоскующему сердцу. Она любила Пушкина. Там она каялась и плакала о нём.

«*Труды поэтические...*» – сам воздух Михайловского пронизан поэзией. Пушкин растворён в воздухе России, в её языке. Его «*труды поэтические*» продолжают в душах поколений. Заливные луга, рощи, леса – всё говорит его стихами, всё сбылось, только в зеркальном отражении, наоборот – от смерти к жизни вечной: «*Невидимо склоняясь и хладея, / Мы близимся к началу своему...*» Пушкин всегда это знал, и, возможно, смерть – зеркальное отражение жизни: они двойники. Но

вначале – пережил поэт красоту Божественного духа, которая переполняла его. Он и раньше её видел, но теперь Бог в Душе его поднялся во весь рост и полностью занял внутреннее существо поэта, вытесняя из тленной телесной оболочки скопление грехов, очищая душу «для покоя и воли», для побега в «дальнюю обитель трудов и чистых нег» – за грань земного бытия, «к началу своему...»

*«На свете счастья нет, но есть покой и воля. / Давно завидная мечтается мне доля – / Давно, усталый раб, замыслил я побег / В обитель дальнюю трудов и чистых нег...»*

Как и с моей поэзией – с моим Миражом – прожила я с Пушкиным долгую жизнь. И мне открылись иные миры – запредельные, куда всё меньше проникали звуки земной, суетной юдоли, зато небесная Музыка заполняла почти всё пространство нового бытия. Музыку эту невозможно пересказать прозой. Музыку эту хочется слушать и слушать, и не трогать Словом. Слово тоже больше не нужно. Но я, узревшая жизнь запредельную, находилась пока что на земле и не знала, как – без слов – исповедаться? Ведь мы не только говорим, но и думаем словами, создавая живые образы, потому писала я эту странную книгу – и не могла остановиться...

## На краю Неба

*«Все мои сочинения – история моей собственной души»*, – в письме Плетнёву признавался Гоголь, а Марина Цветаева подчёркивала, что *«признаки души»* обнаруживаются в любви. И я – через Любовь – пытаюсь отыскать в себе *«признаки души»*, и я – на краю Неба – пишу *«историю моей собственной души»*, с надеждой быть услышанной, если не Всевышним, то моими потерянными любимыми. Вдруг они там, на Небесах, слышат меня? Мы по-детски верим в такое чудо, и это даёт силы жить, пока жаркая Жизнь держится в нас и нас держит, отодвигая Небеса в недостижимую высь – до сокровенного срока. Но Небеса всегда рядом – стоит только запрокинуть голову, особенно в поле или в Степи, или когда упадёшь в высокую траву, звенящую от пения цикад, сверчков, стрекоз и пчёл, когда вдохнёшь пряный дух цветущего разнотравья – и тут откроется тебе небесная страна, населённая облаками и призрачными тенями небожителей. Иногда, перед грозой, облака идут так низко над землёй, что кажется, можно дотянуться руками и прикоснуться к сияющему челу небесных странников, а вокруг – цветёт и радуется Жизнь!

...Пока жила я Миражом и в облаках своих витала, слетала птица с краснотала в сырую бездну под мостом. Над вечной пропастью цвела и наливалась медуница, и не боялась оступить туда, где скручивалась мгла. Пока я грезила и мне являлась Музыка созвучий, сгорали трепетные тучи зелёных бабочек в огне, и колыхался летний зной медовым маревом над лугом, где моя лучшая подруга венки сплетала травяной. В моих подругах Жизнь была, полдненным солнцем пламеня. И мой любимый шёл за нею, когда кругом трава цвела. И мой любимый шёл за ней, за той, что в мареве купалась, и надо мной она смеялась – над блажью призрачной моей. Через поющий летний дол, вблизи от пропасти опасной, за вероломной и прекрасной, за жаркой Жизнью он ушёл...

